

Джордж Оруэлл Да здравствует фикус!

1

Часы пробили половину третьего. В задней служебной комнатухе «Книжного магазина Маккечни» Гордон – Гордон Комсток, последний отпрыск рода Комстоков, двадцати девяти лет и уже изрядно потрепанный, – навалился на стол, щелчками большого пальца открывал и захлопывал пачку дешевых сигарет «Цирк».

Слегка нарушив уличную тишь, еще раз прозвонили часы – с фасада «Принца Уэльского» напротив. Гордон заставил себя наконец сесть прямо и сунул пачку поглубже во внутренний карман. Смертельно хотелось закурить. Увы, только четыре сигареты, среда и денег ждать до пятницы. Слишком хреново изнывать без табака и вечером, и весь день завтра. Уже страдая завтрашней тоской по куреву, он встал и пошел к двери – щупленький, миниатюрный, очень нервный. Средней пуговицы на пиджаке не доставало, правый локоть протерся, мятые брюки обвисли и замызгались, да и подметки, как пить дать, вконец сносились.

В кармане, когда он вставал, звякнула мелочь. Точно было известно, сколько там – пять с половиной: два пенса, полпенни и «везунчик». Замедлив шаг, Гордон достал проклятый рождественский трехпенсовик. Вот идиот! И как это позволил всучить себе дурацкую медяшку? Вчера, когда покупал сигареты. «Не возражаете против «везунчика», сэр?» – пропищала стервоза продавщица. И уж конечно, он не возразил: «Да-да, пожалуйста». Кретин, придурок!

Тошно, если в наличии всего пяток пенсов, три из которых даже не истратить. Как ты заплатишь этой ерундой для пирога? Не деньги, а разоблачение. Таким болваном достаешь «везунчик» не в россыпи других монет. Говоришь: «Сколько?» – и тебе чирикают: «Три пенса». И, порывшись по карманам, выуживаешь, будто в пуговицы играешь, на конце пальца эту жалкую нелепость. Девчонка фыркает – мгновенно понимает, что у тебя больше ни пенни, и быстро шарит глазом по монете, не налип ли ошметок теста. И ты, задрав нос, выплываешь из лавки и никогда уже не смеешь переступить ее порог. Нет! «Везунчик» не в счет. Два с половиной, два пенса да полпенни до пятницы.

Тянулся час послеобеденной пустыни, когда клиенты заглядывали в магазин редко или вовсе не появлялись. Когда он одиноко бродил тут среди тысяч книг. Смежную со служебной, темную, пропахшую старой бумагой комнатенку сплошь заполняли книги из разряда ветхих и неходовых. Фолианты устаревших энциклопедий покоились наверху штабелями, как ярусы гробов в общих могилах. Гордон отдернул пыльную синюю штору перед следующим, получше освещенным, помещением – библиотекой. Типичная «два пенни без залога», магнит для книжного вора. Разумеется, одни романы. И *какие*! Хотя, конечно, кому что.

С трех сторон от пола до потолка полки романов, разноцветные корешки рядами вертикальной кирпичной кладки. По алфавиту: Арлен, Берроуз, Гиббс, Голсуорси, Дипинг, Пристли, Сэппер, Уолпол, Франкау... Гордон скользнул глазами с вялым отвращением. Сейчас ему были противны книги вообще и более всего романы – жуть, брикеты вязкой недопеченной дряни. Пудинги, пудинги с нутряным салом. Стены из сотен тошнотворных кирпичей, упрятан и замурован в склепе из пудингов. Гнетущий образ. Сквозь открытый проем он двинулся в торговый зал, на ходу быстро поправив волосы (привычный жест – вдруг за наружной стеклянной дверью барышни?). Внешность Гордона не впечатляла. Рост всего метр семьдесят, и голова из-за чрезмерно пышной шевелюры кажется великоватой. Ощущение малорослости вечно держало начеку. Под посторонним взглядом он вытягивался, браво выпятив грудь, с видом надменного презрения, порой обманывавшим простаков.

Снаружи, однако, никого не было. В отличие от прочих помещений торговый зал, предлагавший тысячи две изданий, не считая теснившихся в витрине, выглядел нарядно и респектабельно. У входа красовалась выставка книжек для детей. Стараясь не зацепить взглядом мерзейшую суперобложку с имитацией изощренного стиля 1900-х (проказники эльфы резвятся в чаще узорчатых травинок), Гордон уставился на пейзаж в дверном окне. Пасмурно, ветер все сильнее, небо свинцовое, булыжник покрыт слякотью. Тридцатое ноября, денек святого Эндрю. Угловой книжный магазин стоял на перекрестке, перед неким подобием площади. Слева виднелся могучий вяз, дерево совсем облетело, ветки прочерчены острой графической штриховкой. На другой стороне, около паба «Принц Уэльский», громоздились щиты с рекламами патентованных яств и снадобий. Галерея кукольно-розовых страшилищ, излучавших дебильный оптимизм: ЭКСПРЕСС-СОУС, ГОТОВЫЙ ХРУСТЯЩИЙ ЗАВТРАК (*«Детишки утром требуют хрустяшек!»*), АВСТРАЛИЙСКОЕ БОРДО, ШОКОЛАДНЫЙ «ВИТОЛАТ», ПОРОШКОВЫЙ СУПЕРБУЛЬОН (*«Вот кто действительно вкушает наслаждение!»*). «Супербульон» терзал особенно

свирепю, демонстрируя благонравного крысенка с прилизанным пробором и улыбочкой над тарелкой бурой жижи.

Гордон отвел взгляд, сфокусировав его на мутноватом дверном стекле, глаза в глаза с собственным отражением. Неказист. Тридцати нет, а весь вылинял. Кожа серая, и морщины уже врезались. Из «симпатичного» один высокий лоб; лоб-то высок, зато маловат острый подбородок, так что лицо какой-то грушей перевернутой. Волосы тусклые, лохматые, губы кисло кривятся, глаза то ли карие, то ли в зелень. Он снова устремил взгляд вдаль; зеркала в последнее время страшно раздражали. На улице было позимнему угрюмо. Охрипшим стальным лебедем плыл по рельсам скрежещущий трамвай, вслед ему ветром мело клочья листьев. Прутья вяза мотались, изгибаясь на восток. Надорванный угол плаката, воспевавшего «экспресс-соус», отклеился и судорожно трепетал длинной бумажной ленточкой. Шеренгу голых тополей в переулке справа тоже завихрило, резко пригнуло. Гнусный сырой ветер. Чем-то жестоким повеяло, первым рычанием лютых холодов. Две строчки начали пробиваться в сознании Гордона:

Лютый ветер-налетчик... нет. Налетчиком лютым (зловещим? свирепым?), неумолимым. Ну? Строй нагих тополей пригибает... деликатный какой – «пригибает». Резче, резче!

Налетчиком лютым, неумолимым

Тополя нагие гнет, хлещет ветер.

Нормально. С рифмой на «ветер» одуреешь, но уж сто вариантов было после Чосера, найдешь как-нибудь и сто первый. Однако творческий порыв угас. Рука перебирала монеты в глубине кармана: два пенса, полпенни и «везунчик». Мозги заволокло, иссякли силы на рифмы и эпитеты; очень тупеешь с капиталом в пару пенсов.

Глаза опять вперились в лучезарных рекламных пупсов, личных его врагов. Машинально он перечитывал слоганы: «Австралийское бордо – вино британцев!», «Ее уже не душит астма!», «Экспресс-соус подарит радость муженьку!», «С плиткой «Витолата» бодрость на целый день!», «Наши трубки не гаснут под дождем!», «Детишки утром требуют хрустяшек!», «Вот кто действительно вкушает наслаждение!»...

Эге, вроде наметился клиент (стоя у входа, можно было наискось через витрину незаметно наблюдать подходивших). Возможный покупатель – немолодой господин в черном костюме и котелке, с зонтиком и портфелем; тип стряпчего из провинции – круглыми водянистыми глазами рыскал по обложкам. Гордон проследил направление его поисков. Вон оно что! Господин разнюхал в углу первое издание Д. Лоуренса. Слышал, видимо, краем уха насчет «Леди Чаттерлей», жаждет клубнички. И физиономия-то порочная: бледная, рыхлая, оплывшая. На вид валлиец, так или иначе, набожный протестант. Рот поджат зачерствевшей сектантской складкой. У себя там президент какой-нибудь Приморской Лиги Нравственной Чистоты (резиновые тапки и фонарик для выявления парочек на пляже), а сюда приехал покутить. Хоть бы вошел, подсунуть ему «Женскую любовь» Лоуренса – то-то бы разочаровался!

Увы, струхнул валлийский стряпчий, зонт под мышку и праведно потопал прочь. Зато уж вечером, когда стемнеет, стыдливо прокрадется в подходящую лавочку прикупить себе «Забавы за стенами аббатства» Сэди Блэкис.

Гордон повернулся к полкам. Напротив входа шикарнейшей радужной мозаикой (приманкой через дверное стекло) сверкали издания новые и почти новые. Глянцевые корешки, казалось, изнывали в томлении, умоляя: «Купи, купи меня!» Романы свежайшие, только из типографии – невесты, вожделеющие потерять невинность неразрезанных страниц. И экземпляры, побывавшие в руках, – юные вдовушки, хоть и не девственные, но еще в цвету. И наборами по полдюжины всякая всячина из так называемых «остатков» – престарелых девиц, продолжающих уповать в безнадежно затянувшемся целомудрии. Гордон поспешно перевел глаза, по сердцу, как всегда, полоснуло: единственная его книжонка, которую он за свой счет издал два года тому назад, была распродана в количестве ста пятидесяти трех экземпляров, после чего пополнила «остатки» и даже так ни разу более не покупалась. От парадных стеллажей он развернулся к стоявшим поперек полкам с явно подержанным товаром. Отдельно поэзия, отдельно самая разнообразная проза, выставленные по особой вертикальной шкале, когда на уровне глаз шеренги изданий поновей, подороже, а чем выше или чем ниже, тем дряхлей и дешевле. В книжных лавках отчетливо торжествует дарвинизм; жестокий естественный отбор предоставляет сочинениям ныне живущих место перед глазами, тогда как творения мертвых, низвергнуты они либо вознесены, неуклонно вытесняются из поля зрения. На нижних полках величаво тлея «классика», вымершие гиганты викторианской эры: Скотт, Карлейль, Мередит, Рескин, Патер, Стивенсон; имена на переплете пухлых томов едва читались. Под самым потолком, куда и не заглянешь, дремали биографии королевских кузенов. Чуть ниже имеющая некий спрос и потому довольно различимая «религиозная» литература. Все секты, все вероучения без разбора: «Потусторонний

мир» автора под псевдонимом Испытавший Касание Духа, «Иисус как первый филантроп» декана Фаррера, католический трактат патера Честнута – религия предусмотрительна насчет разного покупательского вкуса. А прямо перед глазами опусы современности. Последний сборник Пристли, нарядные томики переизданий всяких середнячков, бодренький «юмор» производства Герберта, Нокса и Милна. Втиснут и кое-кто из умников; пара романов Хемингуэя и Виржинии Вульф. Ну и конечно, шикарные, якобы вольномысленные, а на самом деле до предела отцеженные монографии. Пресная тягомотина об утвержденных живописцах и поэтах из-под пера этих сонно-кичливых молодчиков, что так плавно скользят из Итона в Кембридж, из Кембриджа в литературные редакции.

Мрачно обозревая стену книг, он все тут ненавидел: продукцию классиков и модернистов, умников и пошлых болванов, остряков и тупиц. Один вид бесконечной книжной массы напоминал о собственном бесплодии. Стоишь здесь, вроде бы тоже «писатель», а «писать»-то не выходит. Чего там опубликоваться – сотворить ничего не можешь, почти ничего. Любая чушь на стеллажах по крайней мере существует, как-никак сляпана, даже дипинги и дэллы ежегодно выдают на-гора килограммы своей писанины. Но гаже всех издания «по культуре», ленивая жвачка сытых кембриджских скотов, именно тот жанр критики или эссе, где сам Гордон мог бы работать, будь он побогаче. Деньги и культура! В такой стране, как Англия, «культурный мир» для бедняка не более доступен, чем Клуб кавалергардов. С инстинктом, побуждающим шатать ноющий зуб, он вытащил увесистый кирпич – «Некоторые аспекты итальянского барокко», открыл, прочел абзац и, содрогнувшись от омерзения и зависти, пихнул книгу обратно. Что за всезнайство! Что за гнусный менторский тон! И сколько стоит достичь столь изящной учености? В конце концов, на чем все это основано, если не на деньгах? Дорогая порядочная школа, среда влиятельных друзей, досуг, покой высоких размышлений, поездки по Италии. Деньгами книги и пишутся, и выпускаются, и продаются. Господи, не надо благодати – лучше подкинь деньжат, Отец небесный!

Он позвякал монетами в кармане. Скоро тридцать, и ничего не сделано; один тощий, как блинчик, сборник стихов. И уже два года блужданий в лабиринтах задуманной большой поэмы, которая нисколько не продвигается и, как порой становится ясно, никогда и не продвинется. Нет денег, просто-напросто нет денег, твердил Гордон привычное заклинание. Все из-за денег, все! Напишешь тут хоть стишок, когда колотит из-за пустого кошелька! Мысль, вдохновение, энергия, стиль, обаяние – все требует оплаты наличными.

Тем не менее обозрение полок принесло и некое утешение. Столько писаний намертво потухших, убранных с глаз долой. У всех нас одна судьба. Memento mori. И тебе, и мне, и чванным молодчикам из Кембриджа забвение (хотя для этих подлецов финиш чуть отодвинут). Взгляд упал на сваленные вниз объемистые труды «классиков» – мертвечина. Карлейль и Рескин, Мередит и Стивенсон – все, к чертям собачьим, покойники. Что здесь почти стертым тиснением? «Собрание писем Роберта Льюиса Стивенсона»? Ха-ха! Славно! Великое наследие черно от пыли. Из праха сотворено и в прах же обратится. Гордон пнул запыленный пудовый том. Ну как, старый болтун? «Вечный огонь искусства»? Рухнул остывшей тушей, даром что шотландец... Дзинь! Вошел кто-то. Он обернулся – две клиентки в библиотеку. Одна, сутулая и затрапезная, напоминая рывшуюся на помойке утку, протиснулась бочком со своей пролетарской плетенкой. Следом, как пухлый шустрый воробей, семенила низенькая и краснощекая особа из средних слоев среднего класса; в руках обложкой ко всем встречным (оцените, какова интеллектуалка!) «Сага о Форсайтах».

Гордон сменил кислую мину на предназначенную постоянным абонентам сердечность добродушного семейного доктора.

– Рад вас видеть, миссис Вевер, очень рад, миссис Пенн! Ужасная сегодня погода.

– Кошмар! – откликнулась миссис Пенн.

Он посторонился, пропуская их; миссис Вевер споткнулась и уронила из плетенки зачитанную до дыр «Серебряную свадьбу» Этель Дэлл [2]. Блеснув сзади птичьим глазком, миссис Пенн саркастично улыбнулась Гордону, как умник умнику (Дэлл! о, какая пошлость! что читает это простонародье!). Гордон понимающе усмехнулся в ответ. Слегка улыбаясь друг другу, интеллектуалы прошли в библиотеку, невежество туда же.

Миссис Пенн положила на стол «Сагу о Форсайтах» и вскинула круглую воробынью головку. Она всегда благоволила к Гордону, именovala его, всего лишь продавца, мистером Комстоком и вела с ним беседы о литературе.

– Надеюсь, вы получили удовольствие от «Саги», миссис Пенн?

– О да, *изумительно*, мистер Комсток! Вы знаете, я ведь четвертый раз перечитала. Эпос, поистине эпос!

Миссис Вевер возилась у стеллажей, не в состоянии постичь алфавитный порядок, бормоча под нос:

– Пряма и не знаю, что б такое взять на неделю, прямо не знаю. Дочка-то наказала мне, что, мол, берика Дипинга [3]. Она, дочка-то, прямо его обожает, Дипинга этого. А зять-то, он больше за Берроуза. Ну, я уж и не знаю...

При упоминании Берроуза миссис Пенн, закатив глазки, демонстративно повернулась к миссис Вевер спиной.

– Понимаете ли, мистер Комсток, в Голсуорси чувствуется что-то поистине *великое*. Такая широта, такая мощь, столько чисто английского и вообще *человеческого*. У него каждое произведение – *человеческий* документ.

– И у Пристли, – вступил Гордон. – Вы не находите, что Пристли тоже мыслит весьма широко?

– О да! Так широко, так *человечно*! И такой выразительный язык!

Миссис Вевер раскрыла рот, обнаружив три торчащих желтых зуба:

– А я возьму-ка вот обратно свою Дэлл. Уж *так* она мне по душе. Найдется у вас еще чего-нибудь? А дочке-то скажу, что вы уж как хотите, Берроуза вам или вашего Дипинга, а мне пусть моя Дэлл.

Им только Дэлл и Дэлл! О графах со сворами борзых! Глаз миссис Пенн послал сигнал тонкой иронии, Гордон незамедлительно дал ответный. (Держись, держись! Миссис Пенн образцовая клиентка!)

– К вашим услугам, миссис Вевер, целая полка; Этель Дэлл у нас в полном комплекте, не хотите ли «Мечту всей жизни»? Или если уже читали, то, может, «Измену чести»?

– Нет ли последней книги Хью Уолпола? [4] – перебила миссис Пенн. – Меня сейчас как-то тянет к эпической, *классической* литературе. Вы понимаете, Уолпол мне видится поистине *великим* писателем, он для меня сразу за Голсуорси. Что-то такое в нем высокое и в то же время что-то такое человеческое.

– И язык замечательный, – поддакнул Гордон.

– О, язык дивный, *дивный*!

Миссис Вевер, шмыгнув носом, решила:

– Ладно, я вон какую штуку сделаю, возьму-ка я обратно «Орлиную дорогу». Уж тут сто раз читай, не начитаешься, так ведь?

– Вещь в самом деле удивительно популярная, – дипломатично отозвался Гордон, косясь на миссис Пенн.

– О, удивительно! – эхом пропела миссис Пенн, иронически улыбаясь Гордону.

Он принял от них по два пенса и пожелал счастливого пути обоим, миссис Пенн с новейшим Уолполом и миссис Вевер с «Орлиной дорогой».

Минуту спустя он снова стоял в зале, возле печально притягательных полок поэзии. Собственная несчастная книжонка засунута, конечно, на самый верх, к неходовым. «Мыши» Гордона Комстока; жиденькая тетрадошка, цена три шиллинга шесть пенсов, после уценки – шиллинг. Из тринадцати упомянувших о ней дежурных обозревателей (в том числе литприложение «Таймс», где автор был рекомендован «столь много нам обещающим») ни один рецензент не уловил сарказма в заглавии. И за два года среди покупателей ни одного, кто бы достал с полки его «Мышей».

Поэзия занимала целый стеллаж, содержимое которого оценивалось Гордоном весьма язвительно. В основном дребедень. Чуть выше головы, уже на пути к небесам и забвению, старая гвардия, тускнеющие звезды его юности: Йейтс, Дэвис, Дилан Томас, Хаусман, Харди, Деламар. Прямо перед глазами сегодняшний фейерверк: Элиот, Паунд, Оден, Кэмпбелл, Дей Льюис, Стивен Спендер. Блеск и треск есть, да, видно, подмокли петарды, тускнеющие звезды наверху горят поярче. Явится ли наконец кто-нибудь стоящий? Хотя и Лоуренс хорош, а Джойс как вылез из скорлупы, так еще лучше прежнего. Но если и придет кто-нибудь настоящий, как его разглядишь, затиснутого скопищем ерунды?

Дзинь! Быстро идти встречать клиента.

Прибыл уже однажды заходивший златокудрый юнец, губки-вишенки, томные девичьи повадки, явный «мусик». Насквозь пропах деньгами, весь ими светится. Маска джентльмена-лакея и формула учтивого радушия:

– Добрый день! Не могу ли чем-нибудь помочь? Какие книги вас особенно интересуют?

– Ах, не беспокойтесь, уади Бога, – картаво мяукнул Мусик. – Можно пуосто посмотээть? Я совэйшенно не умею пуйти мимо книжного магазина! Пуосто лечу сюда, как бабочка на свет.

Летел бы ты, Мусик, подальше! Гордон «интеллигентно» улыбнулся, как истинный ценитель истинному ценителю.

– Да-да, прошу вас. Это так приятно, когда заходят просто взглянуть на книги. Не хотите ли посмотреть новинки поэзии?

– Ах, уазумеется! Я обожаю поэзию!

Обожает он, сноб плюгавый! А одет паршивец с особенным художественным шиком. Гордон вынул миниатюрный алый томик.

– Вот, если позволите. Нечто весьма, весьма оригинальное, переводное. Несколько эксцентрично, но необычайно свежо. С болгарского.

Тонкое дело – обрабатывать клиента. Теперь оставь его, не дави, дай самому поискать, полистать минут двадцать; в конце концов, они обычно, приличия ради, что-нибудь покупают. Осмотрительно избегая стиля мусиков, но достаточно аристократично – небрежной походкой, рука в кармане, на лице безучастная джентльменская гладь – Гордон прошел к входной двери.

За окном слякоть и тоска. Откуда-то из-за угла унылой глуховатой дробью слышался перестук копыт. Под напором ветра бурые дымные столбы из труб пригнулись, стекая с крыш. Ну-ка, ну-ка!

Налетчиком лютым, неумолимым

Тополя нагие гнет, хлещет ветер.

Надломились бурые струи дыма

И поникли, как под ударом плети.

Нормально. Но дальше не пошло; глаза уперлись в шеренгу лучезарных рекламных рож. Бумажные уродцы, они даже забавны. Куда им еще *соблазнять*! Смех один, обольстительность кикимор с прыщавой задницей. Но душисть душат; и от них несет вонью поганых денег. Гордон украдкой глянул на Мусика, который, проплыв уже довольно далеко, уткнулся в труд по русскому балету; изучал фотографии, держа книгу в розовых слабых лапках деликатно, как белка свой орех. Тип холеного «артистического» юноши. Не то чтобы, конечно, сам артист, однако «при искусстве»: болтается по студиям, разносит сплетни. Хорошенький мальчонка, несмотря на всю гомосексуальную слащавость. Кожа на шее сзади просто шелк, гладь перламутра, такую за пятьсот лет не отшлифуешь. И некий шарм, присущий только богачам. Деньги и обаяние – спаяно, не разорвать!

Вспомнился друг, необычайно обаятельный и весьма состоятельный редактор «Антихриста» Равелстон, к которому он столь нелепо привязался, с которым виделся не чаще двух раз в месяц. Вспомнилась Розмари, которая любила (даже, как она выражалась, «обожала») Гордона, однако никогда с ним не спала. Деньги, опять они. Все человеческие отношения их требуют. Нет денег, и друзья не помнят, и подружки не любят, то есть вроде бы любят, помнят, но не слишком. Да и за что? Прав, прав апостол Павел, ошибочка только насчет *любви*: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а *денег* не имею, то я – медь звенящая...» Пустая жестянка, барахло, говорить-то даже на этих самых языках не может.

И опять взгляд пошел сверлить плакатных персонажей, на сей раз злобно. Хороши! «С плиткой «Витолата» бодрость на целый день!»: юная парочка в чистеньких туристических костюмчиках, волосы живописно развеваются, впереди горный пейзаж. Девушка еще хлеще парня! Устрашающей породы, сияет невинным сорванцом, любительница Игр и Аттракционов; шорты внятяжку, но и мысли ущипнуть такой зад не возникнет – обмылок. От зазывавшего рядом «Супербульона» почти буквально рвало: кретинизм самодовольной хари, лепешка глянцевого волос, дурацкие очки. «Вот кто вкушает наслаждение!» Вот кто – венец веков, герой и победитель, новейший человек на взгляд чутких создателей рекламы. Послушный шматок сала, хлебающий свое пойло в роскошно меблированном хлеву.

Мелькали посиневшие от ветра лица прохожих. Прогромыхал через площадь трамвай. Часы на «Принце Уэльском» пробили три. Показалась ковылявшая к магазину стариковская пара в свисающих едва не до земли засаленных пальто (бродяга или нищий со своей подругой). Похоже, книжное ворье; гляди-ка в оба за коробками снаружи. Старик остановился невдалеке, у края тротуара; старуха толкнулась в дверь и, распахнув ее, шурясь сквозь седые космы на Гордона с некой неприязненной надеждой, хрипло спросила:

– Книжки у вас покупают?

– Случается. Смотря какие книжки.

– А самые что ни на есть *прекрасные* !

Она вошла, бухнув лязгнувшей дверью. Мусик брезгливо покосился через плечо и слегка отступил в глубь магазина. Вытаскивая из-под пальто грязный мешок, старуха вплотную придвинулась к Гордону, потянуло запахом заплесневевших хлебных корок.

– Берете, а? – сощурилась она, крепко сжимая свой мешок. – Все чохом за полкроны?

– Что именно? Вы покажите мне, пожалуйста.

– Книжки прекрасные, прекрасные, – запыхтела она, наклоняясь развязать мешок и с новой силой шибанув в нос плесенью. – Во чего!

Стопка сунутой чуть не в лицо Гордону рухляди оказалась романами Шарлотты Янг издания 1884 года. Отпрянув, Гордон резко мотнул головой:

– Это мы взять не можем.

– Не-е? Почему «не можем»-то?

– Нам не годится, это невозможно продать.

– Чего ж тогда мешок – неси, развязывай, показывай? – сварливо начала старуха.

Гордон обошел ее, стараясь не дышать, и молча открыл дверь на улицу. Объясняться бесполезно. С подобной публикой имеешь дело каждый день. Серdito нахохлившись, ворчащая старуха убралась за дверь, к старику, который, перед тем как двинуться, харкнул так, что отозвалось у книжных полок. Накопленный белый комок мокроты, помедлив на губах, извергся в сток. И два сгорбленных существа, как два жука в своих долгополых отрепьях, поползли прочь.

Гордон глядел им вслед. В полном смысле слова отбросы. Отброшены, отвергнуты Бизнес-богом. Десятками тысяч по всему Лондону тащится такое нищее старичье, мириадами презираемых букашек ползет к могиле.

Улица подавляла унынием. Казалось, всякая жизнь всякой живой твари на улицах этого города невыносима и бессмысленна. Навалилось тяжелое, столь свойственное нашим дням чувство распада, разрушения, разложения. Причем каким-то образом это переплеталось с картинками реклам напротив. Нет-нет, всмотришься-ка глубже в глянцевоый белозубый блеск до ушей. Не просто глупость, жадность и вульгарность. Сияя всей фальшивой челюстью, «Супербульон» и скалится так же фальшиво. А за улыбочкой? Тоска и сиротливый вой, тень близкой катастрофы. Будучи зрячим, разве не увидишь, что за фасадом гладенько самодовольной, хихикающей, с толстым брюхом пошлости лишь жуть и пропасть, только тайное отчаяние? Всемирное стремление к смерти. Пакты о самоубийстве. Головы в газовых духовках тихих одиноких квартирок. Презервативы и аборт. И зарницы грядущих войн. Вражеские самолеты над Лондоном, грозно ревуший гул пропеллеров, громовые разрывы бомб. Все-все написано на роже «Супербульона».

Повалили клиенты. Гордон услужливо сопровождал их, джентльмен-лакей.

Очередное дверное звяканье. Шумно явились две леди, верхи среднего класса. Одна цветущая и сочная, лет тридцати пяти, вздымающая бюстом крутой уступ изящной беличьей накидки, благоухающая сладострастным ароматом «Пармских фиалок»; вторая немолода и жилиста, судя по цвету лица, бывшая мэм-сахиб. Вслед за ними застенчиво, словно крадучись, скользнул темноволосый, неряшливо одетый юноша – один из лучших покупателей. Чистейший книжник; одинокое чудаковатое создание, робующее молвить слово и явно склонное изобретательно тянуть с бритьем.

Гордон повторил свою формулу:

– Добрый день. Не могу ли чем-нибудь помочь? Какие книги вас особенно интересуют?

Сочная дама одарила щедрой улыбкой, но Жилистая предпочла воспринять вопрос как дерзость. Игнорируя Гордона, она утянула приятельницу к полкам с изданиями, посвященными кошкам и собакам, и обе тут же стали хватать книги, во всеуслышание их обсуждая. Голос у Жилистой гремел, как у сержанта на плацу (надо думать, супруга или вдова полковника). Все еще погруженный в труд по русскому балету, деликатный Мусик несколько отодвинулся, гримаской дав понять, что нарушение покоя, пожалуй, вынудит его покинуть магазин. Застенчивый книжник уже окопался у стеллажа поэзии. Леди, не закрывая рта, продолжали перебирать книги, они довольно часто захаживали посмотреть новинки о домашних любимцах, хотя ни разу не купили ничего. В торговом зале имелось целых две полки исключительно о песиках и кисках; хозяин магазина старик Маккечни называл это «дамским уголком».

Еще один клиент, в библиотеку. Некрасивая девушка лет двадцати, с усталым, простодушно-общительным лицом. Помощница из лавки химтоваров, она была без шляпки, в белом рабочем халате и в

очках, мощные стекла которых странно искажали глаза. Немедленно надев «библиотечную» добродушную маску, Гордон провел косолапо ступавшую девушку к залежам романов.

– Чем же нынче вам угодить, мисс Викс?

– Ну, – протянула она, теребя ворот халата, блестя доверчивыми, странно черневшими за линзами глазами. – *Мне-то* вообще нравится, чтоб про всякую безумную любовь. Такую, знаете, *посовременней*.

– Посовременнее? Может быть, например, Барбару Бедворти? Читали вы ее «Почти невинна»?

– Ой, нет, она все «рассуждает». Я это ну никак. Мне бы такое, знаете, *чтоб современно* : сексуальные проблемы, развод и все такое.

– Современно, без «рассуждений»? – кивнул Гордон, как человек простецкий простому человеку.

Прикидывая, он скользил глазами по книжной кладке; романов о пылких грешных страстях насчитывалось сотни три, не меньше. Из торгового зала слышался оживленный диспут разглядывавших фотографии собак леди верхне-среднего класса. Сочную умилял пекинес – «лапочка, такой ангелочек, глазишки круглые, носишка кнопочкой, ну просто пуся!». Но Жилистая (точно полковничиха!), находя пекинеса приторным, желала видеть «настоящих боевых псов» и презирала «всех этих лапочек». «У вас, Беделия, нет сердца, совершенно нет сердца», – жалобно роптала Сочная. Опять дернулся дверной колокольчик. Гордон поспешно вручил продавщице хитоваров «Семь огненных ночей» и, сделав пометку в ее карточке, получив вынутые из потертого кошелька два пенса, вернулся к покупателям. Мусика, ткнувшего труд о балете не на ту полку, след простыл. Вошедшая решительная дама в строгом костюме и золотом пенсне (наверное, училка и уж наверняка феминистка) потребовала «Борьбу женщин за избирательное право» миссис Вартон-Бeverлей. С тайной радостью Гордон сообщил ей, что сочинение еще не поступило. Сразив взглядом мужскую скудоумную непросвещенность, феминистка удалилась. Худенький долговязый книжник, зарывшись в «Избранные стихотворения» Лоуренса, жался в углу снувшей голову под крыло цаплей.

Гордон занял пост у входной двери. На тротуаре рылся в коробе «все по шесть пенсов» замотанный грязно-зеленым шарфом престарелый и обветшавший джентльмен с носом, как спелая клубника. Леди верхне-среднего класса внезапно оставили полки, бросив на столе вороха раскрытых книг. Сочная в неких колебаниях оглянулась было на собачий альбом, но Жилистая дернула ее, сурово охраняя от лишних трат. Гордон открыл им дверь – леди прошествовали мимо, не удостоив взглядом.

Две спины под роскошными мехами постепенно скрылись вдали. Перебирая книжки, престарелый Клубничный Нос что-то сам себе приговаривал. Видимо, слегка тронутый; глаз не своди: вполне способен что-нибудь стибрить.

Ветер свистел все злее, уличная грязь подсохла. Пора уже зажечься фонарям. Узкий бумажный лоскут «экспресс-соуса» реял как мачтовый флажок. Ага!

Налетчиком лютым, неумолимым

Тополя нагие гнет, хлещет ветер.

Надломились бурые струи дыма

И поникли, как под ударом плети.

Стылый гул трамвайный, унылый цокот,

Гордо реющий клочок рекламной афиши...

Неплохо, неплохо. Но дальше как-то не хотелось – точнее, не получалось. Тихонько, чтоб не потревожить робкого книжника, он перебрал в кармане свою мелочь. Два с половиной пенса. Завтра вовсе без курева. Кости ноют с тоски.

В «Принце Уэльском» зажгли свет: подчищают бар перед открытием. Клубничный Нос, выудив из коробки «все по два пенса» Эдгара Уоллеса, читал. Вдалеке показался трамвай. Наверху редко спускающийся в магазин старик Маккечни дремлет сейчас около печки, белогривый, белобородый, руки с табакеркой на кожаном старинном переплете «Путешествия в Левант» Томаса Мидлтона.

Стеснительный юноша вдруг понял, что все, кроме него, ушли, и виновато огляделся. Завсегдатай у букинистов, он, однако, подолгу возле полок не задерживался, вечно раздраемый страстной жаждой книг и боязнью показаться назойливым. Через десять минут его охватывала неловкость, и чувство пойманного зверька заставляло спасаться бегством, впопыхах что-то покупая исключительно по причине слабонервности. Безмолвно он протянул «Стихотворения» Лоуренса и шесть неловко извлеченных из кармана шиллингов, которые при передаче Гордону уронил на пол, вследствие чего оба одновременно нагнулись, столкнувшись лбами. Лицо юноши побагровело.

– Давайте я вам заверну, – предложил Гордон.

Юноша замотал головой (он так ужасно заикался, что вообще не говорил без крайней надобности), прижал к себе книгу и выскочил с видом свершившего дико позорное деяние.

Оставшись в одиночестве, Гордон тупо поплелся к стеклянной двери. Старикан Клубничный Нос, перехватив луч бдительного ока, досадливо повернул восвояси – еще миг, и триллер Уоллеса скользнул бы ему за пазуху. Часы на «Принце Уэльском» пробили три с четвертью.

Бом-бом, динь-динь! Три с четвертью. Через полчаса включить свет. Четыре часа сорок пять минут до закрытия. Пять часов с четвертью до ужина. В кармане два пенса и полпенни. Завтра ни крошки табака.

Вдруг накатило безумное желание закурить. Вообще-то было решено весь день воздерживаться, приберечь последние четыре сигареты на вечер, когда он сядет «писать». «Писать» без курева труднее, чем без воздуха. И тем не менее сейчас! Вытащив пачку «Цирка», Гордон достал одну из рыхлых мятых сигареток. Глупо, поблажка эта отнимала полчаса вечернего сочинительства. Но как перебороть себя? С неким стыдящимся блаженством он втянул струйку сладостного дыма.

Из тускловатого стекла смотрело собственное отражение – Гордон Комсток, автор «Мышей»; en l'an trentiesme de son eage [5] , а старик стариком; зубов во рту осталось только двадцать шесть. Впрочем, Вийона, по его признанию, в эти годы донимал сифилис. Будем же благодарны и за мелкие милости свыше.

Не отрываясь, он наблюдал трепыхание бумажного лоскута у края «экспресс-соуса». Гибнет наша цивилизация. *Обречена* погибнуть. Только мирным угасанием не обойдется: армада летящих бомбардировщиков, резкий пикирующий свист – бабах! И весь западный мир на воздух в огне и грохоте!

На улице темно, мутно отблескивало отражение его собственной хмурой физиономии, сновали за окном понурые силуэты прохожих. Сами собой всплыли бодлеровские строчки:

C'est l'Ennui – l'oeil chargé d'un pleur involontaire,

Il rke d'échafauds en fumant son houka [6] .

Деньги, деньги! «Вкушающий наслаждение» потребитель «супербульона»! Рев самолетов и грохот бомб.

Гордон глянул в свинцовое небо. Уже виделись эти самолеты: эскадра за эскадрой, тучами черной саранчи. Неплотно прижимая язык к зубам, он издал нечто вроде жужжания бьющейся о стекло мухи. О, как мечталось услышать мощный тяжелый гул штурмовой авиации!

2

Ветер свистел в лицо, насквозь пронизывая топавшего домой Гордона, откинув ему волосы и крайне щедро прибавив «симпатичной» высоты лба. Всем своим видом Гордон внушал (или надеялся внушить), что пальто он не носит по личной прихоти. Пальтишко, откровенно говоря, было заложено за восемнадцать шиллингов.

Жил он в районе северо-запада. Его Виллоубед-роуд не считалась трущобной улицей, просто сомнительной и мрачноватой. Настоящие трущобы начинались через пару кварталов. Там теснились эти многоквартирные соты, где люди спали впятером в одной кровати, и, если кому-то случалось умереть, прочие так и спали рядом с мертвецом до самых похорон; там жались эти улочки и тупики, где девчонки беременели от мальчишек, отдаваясь им в облезлых подворотнях. Нет, Виллоубед-роуд ухитрялась каким-то образом держаться с пристойностью пусть и низов, но, безусловно, низов среднего класса. Здесь на одном из зданий даже красовалась медная табличка дантиста. В подавляющем большинстве домов меж обшитыми бахромой оконными портьерами гостиных над зарослями фикусов сияли серебряными буквами на темно-зеленом фоне карточки «Принимаются жильцы».

Квартирная хозяйка Гордона, миссис Визбич, специализировалась по «одиноким джентльменам». Маленькая комната, свет газовый, отопление за свой счет, право за дополнительную плату пользоваться ванной (с газовой колонкой) и кормежка в могильно сумрачной щели, у стола, неизменно украшенного строем бутылочек неких засохших специй, – Гордону, приходившему днем обедать, это обходилось в двадцать семь шиллингов шесть пенсов в неделю.

Над подъездом номер 31 слабо светилось желтоватое оконце. Гордон достал свой ключ и кое-как воткнул его – есть тип жилищ, где идет вечный бой замков с ключами. Темноватая прихожая, в сущности коридорчик, пахла помоями, капустой, ветошью ковриков и содержимым ночной посуды. Японский

лаковый поднос на этажерке был пуст. Ну разумеется! Твердо решив больше не ждать писем, Гордон, однако, их очень ждал. И вот не боль в душе, но тягостно саднящий осадок. Все-таки Розмари могла бы написать! Четвертый день от нее ничего нет. Ничего нет и из двух редакций, куда послано по стихотворению. А ведь единственное, что маячило весь день хоть каким-то просветом, это надежда найти вечером письмо. Посланий Гордон получал немного и далеко не каждый день.

Слева от прихожей располагалась парадная, никогда не принимавшая гостей гостиная, затем шла узенькая лестница наверх, коридор вел также в кухню и к неприступному обиталищу самой миссис Визбич. Едва Гордон вошел, дверь в конце коридора приоткрылась, позволив миссис Визбич метнуть подозрительный взгляд, и вновь захлопнулась. Без этого бдительного досмотра войти или уйти до одиннадцати ночи было практически невозможно. Трудно сказать, в чем именно рассчитывала уличить жильца миссис Визбич; скорее всего в контрабандном протаскивании женщин. Почтенная хозяйка из породы дотошных тиранок представляла собой тучную, но весьма энергичную и устрашающе зоркую особу лет сорока пяти, с красиво оттененными сединами благообразным, румяным и постоянно обиженным лицом.

Гордон уже ступил на лестницу, когда сверху густой, чуть сипловатый баритон пропел: «Кто-кто боится злого Большого Волка?» Слегка танцующей походкой толстяков навстречу Гордону спускался очень жирный джентльмен в шикарном сером костюме, лихо заломленной шляпе, оранжевых штиблетах и светло-синем пальто потрясающей вульгарности – Флаксман, жилец второго этажа, разъездной представитель фирмы «Царица гигиены и косметики». Салютуя лимонно-желтой перчаткой, он беззаботно кинул Гордону:

– Привет, парнишка! – Флаксман всех подряд называл «парнишками». – Как жизнь?

– Дерьмо, – отрезал Гордон.

Пододошедший Флаксман ласково обнял его своей ручищей:

– Брось, старик, не переживай! Ты как на драном кладбище! Я сейчас в «Герб» – давай, пошли со мной.

– Не могу. Нужно поработать.

– Да ни черта! Посидим, по стаканчику пропустим? Чего хорошего тут даром маяться. Возьмем пивка, душечку барменшу потискаем?

Гордон вывернулся из-под пухлой лапы. Мужчина миниатюрный, он ненавидел, когда его трогали. Рослый толстяк Флаксман лишь ухмыльнулся. Толст он был чудовищно; брюки его распирали так, словно бы он сначала таял и затем наливался в них. И разумеется, как все жирные, таковым он себя никак не признавал, предпочитая определения уклончивые: «плотный», например, или «дородный», а еще лучше «здоровяк». Толстяки просто обожают, когда их называют «здоровьяками».

При первом знакомстве Флаксман совсем было собрался аттестовать себя здоровяком, но что-то в зеленоватых глазах Гордона его удержало, и он пошел на компромисс, выбрав «дородный»:

– Меня, парнишка, знаешь, малость того, в дородность повело. Для здоровья-то, понимаешь, только польза. – Он ласково погладил плавный холм от груди к животу. – Славное, плотное мясо. А на ногу я знаешь какой прыгун-резвун? Ну в общем, это, меня вроде бы можно назвать *дородным* малым.

– Как Кортеса? – подсказал Гордон.

– Кортес? Это который? Тот парнишка, что все в Мексике по горам шатался?

– Он самый. Весьма был дороден, зато с орлиным взором.

– Ну? Вот смех! Мне жена однажды почти так же и сказала! «Джордж, – говорит, – красивей твоих глаз на свете нету. Пряма-таки, – говорит, – как у орла». Ну, это она, сам понимаешь, еще до свадьбы.

В настоящий момент Флаксман проживал без супруги. Некоторое время назад «Царица гигиены» неожиданно наградила своих представителей премиями по тридцать фунтов, одновременно командировав Флаксмана с двумя его коллегами в Париж, дабы продвинуть на французский рынок новинку – губную помаду «Влекущая магнолия». Жене о премии Флаксман и не подумал сказать и, разумеется, всю побаловал себя в Париже. Даже теперь, три месяца спустя, при описании поездки на его губах появлялась сальная ухмылка. При каждой встрече Гордону перечислялся ассортимент сочных деталей. Десять парижских дней с тридцатью фунтами, насчет которых супружница не в курсе! Хо-хо, парень! Но к сожалению, случилась утечка информации, так что дома Флаксмана ожидало возмездие. Супруга разбила ему голову подаренным еще на свадьбу, четырнадцать лет назад, граненым винным графином и отбыла, забрав детишек, к матери. Последствием явилось изгнание Флаксмана на Виллоубед-роуд, по поводу чего он, однако, не особенно тревожился. Бывало и прежде; как-нибудь рассосется, образуется.

Гордон еще раз попытался увернуться от Флаксмана. Ужас был в том, что ему отчаянно хотелось пойти с ним. Томило желание выпить – одно упоминание о «Гербе» вызывало немислимую жажду. Но денег нет и, стало быть, исключено! Однако неотступный Флаксман изобразил рукой опущенный шлагбаум. Он искренне был расположен к Гордону, считая его «ученым», а саму «ученость» – милой блажью; кроме того, он совершенно не выносил одиночества, нуждаясь в компании даже на время короткой прогулки до паба.

– Айда, парнишка! – убеждал он. – Надо, ей-богу, надо тебе срочно пивка глотнуть, встряхнуться! Ты ж еще не видал там новую официанточку, хо-хо! Персик!

– Так вот чего ты расфрантился? – сказал Гордон, холодно глядя на лимонные перчатки.

– А то! М-м, какой персик! Пепельная блондиночка и, будь уверен, знает кой-какие славные штучки. Вчера ей тубик нашей «Влекущей магнолии» презентовал. Видел бы ты ее походочку, как она попойкой около меня виляла. Даст ли щипнуть? Ой, не могу!

Флаксман, чуть высунув язык, сладострастно поежился и вдруг, будто добравшись до блондиночки, ловко прихватил Гордона за талию. Гордон отпихнул его. На мгновение он уже готов был сдаться томившей жажде. Кружка пива! Он почти ощутил вкус первых упоительных глотков. Хотя бы шиллинг, хоть полшиллинга на одну кружку! Но что толку травить себя? Нельзя позволить, чтобы кто-то платил за твою выпивку.

– Да отвязись ты, к черту! – раздраженно бросил Гордон и, не оглядываясь, зашагал наверх.

Слегка обиженный, Флаксман поправил шляпу и ушел. Последнее время Гордон постоянно огрызался, пресекая любое поползновение на дружеский контакт. Причина, конечно, все та же – ни гроша. Какие тебе друзья, какое вообще общение, когда карман пуст? Сердце стиснуло от острой жалости к себе. Представился зал в пабе: аромат горьковатой пивной свежести, свет, уют, веселые голоса, стук наполненных кружек... Деньги, деньги! Он продолжал взбираться по темной вонявшей лестнице. В свою холостяцкую келью на самом верху хотелось, как в тюремный каземат.

На третьем этаже квартировал Лоренхайм, щуплый, ящеркой шмыгавший брюнет невинного возраста и племени, выручавший шиллингов тридцать пять в неделю, навязывая пылесосы. Мимо его двери следовало проходить очень быстро, иначе это никому на свете не нужное, смертельно одинокое существо униженно и цепко атаковало вас, изводя бесконечными бредовыми рассказами о совращении девиц или победах на ниве бизнеса. В берлоге Лоренхайма, где повсюду валялись корки хлеба с маргарином, мерзость запустения превосходила нормы даже самых дешевых мебелирашек. Последним из пансионеров миссис Визбич был какой-то механик, работавший в ночную смену. Этот лишь изредка мелькал – крупный мужчина с бледным мрачным лицом, неизменно в котелке.

Привычно нащупав впотьмах газовый рожок, Гордон зажег горелку. Осветилась комната – ни то ни се: разгородить занавеской маловата, а согреть дряхлой керосиновой лампой велика. Обстановка, как полагается в последнем этаже: покрытая белым одеяльцем узкая койка, бурый линолеум, стоячий рукомойник с кувшином и дрянным тазиком, эмаль которого настырно напоминает о ночных горшках. На подоконнике в глазурованном керамическом вазоне чахлый фикус.

Перед окном располагался кухонный столик под зеленой, заляпанной чернилами скатеркой – письменный стол Гордона. Его боевой трофей после долгой ожесточенной битвы с миссис Визбич, включавшей в ансамбль чердачной комнаты лишь бамбуковую подставку под фикус и до сих пор ворчавшей из-за «неопрятности» этого лишнего предмета. Стол действительно не убирался, постоянно являя взору горы и оползни пыльной многостраничной рукописи, ввиду бесконечных вычеркиваний, вставок и поправок превратившейся в тайнопись, ключом к которой владел один Гордон. Сверху несколько битых блюдец, хранилищ пепла и скрюченных окурков. Если б не стопка книг на выступе камина, этот заваленный бумагой столик был бы единственной личной приметой здешнего жильца.

Холод стоял зверский, и Гордон решил зажечь керосиновую лампу. Подняв ее и ощутив неприятную легкость (бидон для керосина тоже пуст, так что и лампу не заправить до пятницы), он чиркнул спичкой – по фитилю еле-еле пополз дрожащий рыжий огонек. В лучшем случае будет чадить пару часов. Откидывая горелую спичку, Гордон краем взгляда зацепил фикус. Удивительно хилый уродец в глазурованном горшке топырил всего семь листиков, явно бессильный вытолкнуть еще хоть один. У Гордона давно шла с ним тайная беспощадная война. Он всячески пытался известить его, лишая полива, гася у ствола окурки и даже подсыпая в землю соль. Тщетно! Пакошь фактически бессмертна. Что ни делай, вроде хиреет, вянет, но живет. Гордон встал и старательно вытер испачканные керосином пальцы о листья фикуса.

В этот момент снизу раздался сварливый зов миссис Визбич:

– Мистер Комсток!

– Да? – откликнулся, подойдя к двери, Гордон.

– Ваш ужин десять минут на столе. Почему всегда непременно нужно задерживать меня с мытьем посуды?

Гордон поплелся вниз. Столовая находилась в глубине второго этажа, напротив апартаментов Флаксмана. Промозглая, припахивавшая клозетом и сумрачная даже в полдень, она была набита такой кошмарной массой фикусов, что Гордону никогда не удавалось их точно пересчитать. Фикусы на буфете, на полу, на всевозможных разнокалиберных столиках, в ячейках загородившей оконный проем цветочницы – казалось, ты на дне, среди густых водорослей. Ужин дождался, высвеченный круглым лучом газового рожка. Усевшись спиной к камину (за решеткой которого вместо пламени тускло зеленел очередной фикус), Гордон принялся жевать ломтик холодного мяса с двумя кусками крошащегося белого хлеба, попутно угощаясь комочком маргарина, обломком сыра и горчицей, запивая все это стаканом холодной, но почему-то затхлой воды.

Когда он снова поднялся к себе, керосиновая лампа более-менее раскопегарилась. Пожалуй, хватит вскипятить полпинты. Близился центральный номер программы его вечеров – незаконная чашка чая. Чашка чая, которой он потчевал себя почти еженощно, приготовляя ее в глубочайшей тайне. У миссис Визбич чай за ужином не полагался, поскольку при ее заботах «еще и воду кипятить – это уж слишком!», а чаепития у квартирантов запрещались категорически. На ворох исчерканной рукописи даже смотреть было противно. И не станет он нынче вечером корпеть, и не притронется, вот так-то! Чай заварит, выкурит свой остаток сигарет и просто почитает, «Лира» или «Шерлока Холмса». Книжки его стояли на каминной полке рядом с будильником: Шекспир в дешевеньком издании, «Шерлок Холмс», поэмы Вийона, «Родрик Рэндом» Смоллетта, «Цветы зла», несколько французских романов. Правда, сейчас он ничего не мог читать, кроме Шекспира и Конан Дойла. Итак, чай.

Гордон подошел к двери, слегка приоткрыл, прислушался – ни звука. Необходимо было быть предельно осторожным с миссис Визбич, вполне способной крадучись взобраться, дабы застать врасплох: заваривание чая являлось тягчайшим нарушением устава, почти равным протаскиванию женщин. Тихонько задвинув щеколду, он вытащил из-под кровати свой старый чемодан, откуда поочередно извлек шестипенсовый жестяной чайник, пачку лионского чая, банку сгущенки, заварной чайничек и чашку (во избежание звяканья каждый предмет был обернут газетой).

Процедуру он давно отработал. Сначала, до половины залив чайник водой из кувшина, установить его на керосиновой горелке. Затем, опустившись на колени, расстелить перед собой клочок газеты. Вчерашняя заварка, разумеется, еще внутри. Он вытряхнул ее, пальцем выгреб остатки и тщательно запаковал тугой сверток. Теперь самый рискованный момент – пойти и незаметно выкинуть; проблемы убийцы, которому надо избавиться от трупа. А чашку, как обычно, он утром, умываясь, сполоснет в тазике. Невмоготу бывала эта мышьяная возня. Невероятно, каких партизанских ухищрений требовало житье у миссис Визбич, вечно, казалось, шпионившей и действительно без устали сновавшей на цыпочках в надежде подловить на каком-нибудь прегрешении преступных квартирантов. Дом, где даже в уборной не расслабишься из-за ощущения чьих-то ушей за стенкой.

Гордон отодвинул щеколду и замер, затаив дыхание. Тишина. Оп! Издалека еле слышно брякнули тарелки – хозяйка занялась мытьем посуды. Пожалуй, пора.

Осторожно ступая, прижимая к груди повлажневший сверток, он стал спускаться. Клозет находился на третьем этаже. У лестничного поворота он вновь замер, весь превратившись в слух. Ага! Бренчит посуда – путь свободен!

И Гордон Комсток, поэт («столь много нам обещающий» – см. литприложение «Таймс»), пулей пронесся к уборной, кинул заварку в унитаз и спустил воду. Потом поспешил обратно, заперся и, привычно остерегаясь каких-либо шумов, заварил себе свежий чай.

Тем временем в комнате несколько потеплело, чай и сигарета тоже сотворили свое недолгое волшебство. Злая тоска чуть отступила. Ну что ж, не поработать ли? Да уж конечно! Завтра сам себя истерзаешь, если вечер пройдет впустую. Не слишком рьяно он подвинул стул к столу. Вдохнул, перед тем как нырнуть в чащобу рукописи, вытянул несколько исписанных листов, расправил их и пробежал глазами. Господи, что за месиво! Этот текст – написано, зачеркнуто, сверху надписано и снова вычеркнуто – словно тело обреченного бедняги, по двадцать раз искромсанное скальпелем. Радует только почерк в просветах между грязью – ровная «интеллигентная» строгость. О-хо-хо, кровью и потом далась эта благородная простота руке, натасканной на свинстве кудрявых школьных прописей.

Пожалуй, он *сможет* поработать; ну хоть как-то, хоть сколько-то. Где в этом бардаке кусок, который он вчера чиркал? Поэма была грандиозной панорамой, то есть предполагалась ею стать – тысячи две строк, четко, классически рифмованных, рисующих лондонский день (название – «Прелести Лондона»). То, что

подобные амбициозные проекты нуждаются по крайней мере в досуге мирном и бескрайнем, автор поначалу не уяснил. Теперь зато – вполне. Ах, с каким легким сердцем начинал он пару лет назад! Когда, обрубив концы, нырнул в пучину вольной бедности, как воодушевлял сам замысел поэмы. Тогда так ясно ощущалось, что это именно его тема. Однако ж почти сразу «Прелести Лондона» не задались. Размах не по плечу, да – не по силам. Работа не двигалась, за два года наклепана только куча фрагментов, разрозненных и незаконченных. Везде обрывки маранных-перемаранных стихов, месяцами не выправлявшихся. Начисто завершенных и пятисот строк не наберется. И уже нет воли толкать это вперед, одни сумбурные подчистки да поправки то там, то сям. Поэмы даже вчерне не было; просто некий кошмар, с которым он упрямо бился.

Так что итог двух мученических лет – лишь горсточка стихков-осколков. Все реже случалось погружаться в глубинный мир, творящий слова поэзии или прекрасной прозы. А долгие часы, когда он совершенно «не мог», все множились и множились. В разнообразии людских пород только художник позволяет себе заявить, что он «не может» работать. Но это истинная правда, временами действительно *не может*. Деньги чертовы, никуда без них! Туго с деньгами – значит, быт убогий, зуд мелочных хлопот, нехватка курева, повсюду ощущение позорного провала и, прежде всего, одиночество. А как иначе живущему на гроши? И разве в таком глухом одиночестве что-то достойное напишешь? Ясно, что никакой поэмы «Прелести Лондона» не сложится, да и вообще ничего путного не выйдет. Трезвым умом Гордон сам понимал.

И все равно – и как раз именно поэтому – он продолжал возиться с текстом. Здесь была некая опора, способ дать в морду нищете и одиночеству. Кроме того, иногда вдохновение (или его подобие) все-таки возвращалось. Как этим вечером, пусть ненадолго, на две выкуренные сигареты. Наполнивший легкие дым отгородил от пошлой реальности. Сознание ухнуло в бездонные просторы, где пишутся стихи. Тихо баюкая, посвистывал над головой светящийся газовый рожок. Слова ожили, заиграли смыслом. На глаза попало написанное год назад, оставленное без продолжения и сейчас вдруг кольнувшее двустушие. Он несколько раз, мыча, перечел его – не то, не то. Когда впервые записал, было нормально, теперь царапало оттенком неприятной развязности. Порывшись в листах, найдя наконец страницу с чистым оборотом, переписал туда сомнительные строчки, сделал дюжину версий, многократно бормоча каждую на разные лады. Плохо, вообще плохо – дешево. Не пойдет. Нашел первоначальное двустушие в общем черновике и вычеркнул двумя жирными линиями. И почувствовал сделанный шажок, словно действительно удалось что-то сделать.

Внезапный энергичный стук с улицы сотряс весь дом. Гордон вздрогнул, мигом вернувшись на землю. Почта! «Прелести Лондона» были забыты, сердце затрепетало. Может быть, письмо от Розмари? Или ответы из редакций на два стихотворения? С провалом одного – в заокеанской «Калифорнийской панораме» – он почти примирился (полгода оттуда ни звука, наверно, и рукопись не позаботятся вернуть). Но другое отправлено в английский альманах «Первоцвет», и здесь имелись сумасшедшие надежды. В глубине души Гордон, конечно, сознавал, что в «Первоцвете» его никогда не напечатают – не их стандарт, однако чудеса случаются, а если не чудеса, так сбой в механизме. В конце концов, стихи у них уже полтора месяца. Зачем полтора месяца держать, если не собираются печатать? Уймись, гони эту безумную мечту! Ну ладно, хоть Розмари написала. Через четыре дня. Не представляет она, каково сутками ждать ее писем. Длинных косноязычных писем с дурацким юмором и уверениями в любви. Совсем не понимает, что ее послания для него – знак существования кого-то, кому он все же нужен. Что только это его поддержало, когда один хам грубо отверг его стихи. Впрочем, отказы следовали практически отовсюду, кроме «Антихриста», редактором которого был друживший с Гордоном Равелстон.

Внизу обычное шуршание. Миссис Визбич всегда медлила разносить почту, она любила повертеть конверты, исследовать их толщину, почтовый штемпель, поглядеть на просвет, погадать над содержанием. Что-то вроде владетельного «права первой ночи» с письмами квартирантов, присланными на ее адрес и, стало быть, как она ощущала, отчасти ей принадлежащими. Случись кому-нибудь спуститься, чтобы забрать свое письмо, она бы горько обиделась. С другой стороны, ее очень обижали и хлопоты с доставкой писем наверх. Вначале слышался медленный-медленный подъем по лестнице, потом, уже с площадки, вздохи тяжелой усталости оповещали, что из-за вас хозяйка должна жертвовать здоровьем, и лишь затем, с брызгливым шумным сопением, письма подсовывались под дверь.

Лестница внизу скрипнула: миссис Визбич начала подниматься. Гордон слушал. Скрип прекратился у второго этажа – письмо для Флаксмана. Снова поскрипывание и пауза на третьем этаже – письмо механику. Сердце гулко забило. Господи, умоляю, письмо мне, письмо! Ого, опять шаги, но наверх или вниз? Сюда идет, ура! Нет, не сюда... Скрип постепенно удалялся, звук его слабел, затем и вовсе стих. Не будет писем.

Он снова взялся за перо, но зачем, непонятно. Так и не написала! Вот поганка! К работе больше ни капли интереса; обманутое ожидание всю душу вынуло. Только что певшие и дышавшие, строчки стали

глупой дохлятиной. Нервно, почти брезгливо Гордон собрал листы, сложил их кое-как лохматой кипой и убрал со стола на подоконник, загоротив фикусом. Видеть невозможно!

Он встал. Спать еще вроде рановато, во всяком случае, пока не тянет. Хотелось чем-нибудь развлечься, чем-то совсем простеньким: посидеть в киношке, покурить, пивка выпить. Увы! Самых грошовых удовольствий себе не купишь. Он решил было взять «Короля Лира» – забыть гнусную современность, однако, поколебавшись, снял с полки «Холмса», известного наизусть. Керосин в лампе догорал, от холода уже трясло. Сдернув с кровати стеганое одеяло, Гордон закутал ноги и уселся читать. Руки грелись за пазухой, шелестели страницы «Пестрой ленты», шипел светильный газ, таявший огонек керосиновой лампы одарял теплом не больше свечки.

В недрах логовища миссис Визбич прозвонило половину одиннадцатого. Ночью отчетливо доносился этот звон, гудящий роковым набатом: бу-ум! бу-ум! Стало слышно и тиканье будильника, зловещее напоминание об уходящем времени. Гордон поднял глаза. Еще вечер пропал. Впустую уплывающие дни, недели, годы. Ночь за ночью все то же – неудобное жилье, кровать без женщины, пыль, сигаретный пепел и листья фикуса. А вот-вот тридцать стукнет. Сознательно кладя себя на плаху, Гордон вытащил расплзавшийся ворох черновиков и устремил на них взор, как скорбный философ на череп, символ бренности. Друзья, позвольте вам представить грандиозную поэму «Прелести Лондона», творение Гордона Комстока, автора «Мышей». Его шедевр, плод (хорош фруктик!) двухлетних творческих исканий – бесподобная галиматья! И достижение нынешнего вечера – пара строк вычеркнута, две строки переместились с конца в начало.

Керосиновая лампа, слабо икнув, погасла. Не без изрядного напряжения воли Гордон размотал одеяло и швырнул на кровать. Лучше сейчас лечь, пока еще хлеще не выстыло. Он зашаркал к постели. Стоп – утром на работу: заведи часы! поставь будильник! Ничего не сделал, ни на йоту не двинулся, не заслужил отдохновение после трудов праведных.

Некоторое время он копил силы, чтоб раздеться. Минут пятнадцать провалялся в полном облачении, руки за голову, глаза в потолок. Трещины на штукатурке напоминали карту Австралии. Гордон давно приспособился лежа скидывать башмаки и носки. Помотав обнажившейся ступней, он критически оглядел ее, жалковатую, худосочную. Ноги (как и руки) не впечатляли. К тому же ступня была очень грязной. Ванну он не принимал уже дней десять. Застыдившись немых ног, он, кряхтя, сел и наконец разделся, побросав одежду на пол. После чего завернул вентиль газового рожка и скользнул в простыни, жутко дрожа, поскольку спал он теперь всегда голым. Последняя его пижама скапутилась больше года назад.

Хозяйкины куранты отбили одиннадцать. Едва суровая неприветливость кровати несколько потеплела, в памяти зашевелилось то, что удалось насочинять за день, и Гордон шепотом начал скандировать:

Налетчиком лютым, неумолимым
Тополя нагие гнет, хлещет ветер.
Надломились бурые струи дыма
И поникли, как под ударом плети...

Вдруг ужаснула механическая пустота каких-то без толку стучащих шестеренок – рифма к рифме, перекрестно: трам-блям, трам-блям! Как заведенный кивающий болванчик. Поэзия! Предел тщетности. Он лежал с открытыми глазами, в ясном сознании своих тщетных усилий, своих тридцати лет и тупика, куда сам же себя загнал.

Часы пробили полночь. Постель становилась все уютней, и Гордон вытянул зябко поджатые ноги. Случайный луч автомобильной фары откуда-то с соседней улицы проник сквозь штору, посеребрив верхний торчащий листок фикуса, превратив его в наконечник гордо сверкающего копья Агамемнона.

3

«Гордон Комсток» звучало ужас как миленько, зато вроде бы родовито. «Гордон» – привет из Шотландии, конечно; еще одна частичка особенно заметной в последние полвека британской шотландизации. Гордоны, Колины, Малькомы, Дональды в том же ряду шотландских даров человечеству, что виски, овсянка, гольф, сочинения Барри [7] и Стивенсона.

Комстоки, безземельные дворянчики, принадлежали к самому унылому, срединно-среднему общественному слою. В нынешней жалкой бедности им не дано было даже вздохнуть о «золотом веке» «старинного» семейства, ибо, отнюдь не «старинные», они являлись рядовым семейством, поднявшимся на волне викторианского процветания и рухнувшим раньше самой этой волны. Период их достатка длился лишь несколько десятков лет, когда активно орудовал дед Гордона, мистер Сэмюэль Комсток – «дедуля», как с малых лет приучен был говорить Гордон, хотя деда не стало за пять лет до его рождения.

Дедуля Комсток был из тех, кто мощно правит даже с того света. При жизни этот матерый негодяй, грабя рабочих и туземцев, набил мощну, выстроил себе красный кирпичный особняк несокрушимой прочности и породил дюжину чад, уступив смерти лишь одного младенца. Сразил его внезапный апоплексический удар. Дети воздвигли на могиле гранитную глыбу со следующей надписью:

...

**НАВЕКИ ОСТАВШИЙСЯ В СЕРДЦАХ
СЭМЮЭЛЬ ИЕЗЕКИИЛЬ КОМСТОК,
ПРЕДАННЫЙ СУПРУГ, НЕЖНЫЙ ОТЕЦ,
ОБРАЗЕЦ ЧЕСТИ И ДОБРОДЕТЕЛИ,
РОЖДЕННЫЙ 9.07.1828, ПОЧИВШИЙ 5.09.1901.
СКОРЬБЬ ДЕТЕЙ БЕЗУТЕШНА.
СПИ СПОКОЙНО В ОБЪЯТИЯХ ИИСУСА.**

Нет нужды повторять богохульные комментарии каждого, знавшего дедулю Комстока. Однако стоит отметить, что плита с вышеприведенной эпитафией весила около пяти тонн, чем несомненно отвечала пусть бессознательным, но очевидным желаниям потомства надежно застраховать себя от явления дедушки из могилы. Сокровенные чувства родни к покойному наиболее точно и конкретно измеряются весом надгробия.

Тех Комстоков, среди которых вырос Гордон, отличали вялость, обшарпанность, фамильная невзрачность. Им на удивление не хватало живучести. Дедуля тут постарался. К моменту его кончины дети стали взрослыми, а некоторые уже достигли средних лет, и все годы малейшие ростки их духа подавлялись. Он проехал по ним чугунным катком, и ни одна расплюснутая личность никогда не смогла воспрянуть. Все как один – шеренга бесцветных безвольных неудачников. Никто из сыновей не преуспел в профессии, поскольку папенька с отменным упорством рассовал их по наименее подходящим поприщам. И лишь Джон (отец Гордона) расхрабрился – женился еще при жизни своего родителя. Нельзя было представить кого-то из отпрысков дедули Комстока сколько-нибудь значительным, созидającym либо разрушающим, очень счастливым или глубоко несчастным, полнокровно живущим или хотя бы солидно обеспеченным. Им выпало только покорно прозябать, цепляясь за скудеющую респектабельность. Весьма типичное в срединно-средних слоях пришибленное семейство, где *никогда ничего новенького не случается*.

С ранних лет Гордона жутко тяготил тоскливый хоровод родни. Поначалу вокруг кружило довольно много дядюшек и тетушек, схожих линиялой тусклостью, довольно хилых, вечно обеспокоенных деньгами, постоянно по этому поводу стенавших, однако, упаси Господи, без скандальных драм. Примечательно, что в них угас даже инстинкт продолжения рода. Люди по-настоящему жизнеспособные, есть деньги или нет, напористо и органично размножаются. Тот же дедуля Комсток, в своей семье двенадцатый ребенок, сам наплодил одиннадцать детей. Но все потомство этих одиннадцати свелось к двоим – Гордону и его сестре Джулии. Гордон, последний отпрыск Комстоков, незапланированно появился на свет в 1905-м, а потом за долгие тридцать лет в семействе ни единого рождения, лишь похороны. И не только свадеб или крестин, вообще *ничего новенького не случалось*. Все Комстоки, казалось, были обречены запуганно таиться по своим норкам. Абсолютное неумение как-либо *действовать*, ни грана храбрости куда-либо пробиться, хотя бы в автобус. Все, разумеется, безнадежные дурни насчет денег. По завещанию дедули нажитый им капитал был разделен более-менее равномерно, так что после продажи краснокирпичной крепости на каждого пришлось около пяти тысяч фунтов. И едва дорогой дедуля опочил, наследники принялись тратить. Смельчаков с шиком просадить свою долю на нечто вроде скачек или прекрасных дам, естественно, не нашлось; они просто по чуточке, по капельке выкидывали денежки на ветер. Дочери на безмозглые вложения, сыновья на какое-нибудь небольшое «свое дело», неизменно хиревшее и приносившее лишь потери. Более половины наследников дедули скончались, не изведав брачной жизни. После смерти отца для пары давно отцветших дочек нашлись мужья, сыновьям же ввиду неспособности заработать осталось пополнить ряды джентльменов, которые «не могут позволить себе жениться». Никто, кроме тети Энджелы, не обзавелся собственным жильем; жались по нанятым, богом забытым квартиркам или мрачным пансионам. И год за годом умирали от невнятных, зато съедавших последние пенни болезней. А тетю Шарлотту в 1916-м пришлось отправить в Клэйпхемский сумасшедший дом. Как переполнены в Англии эти дома скорби! И в основном за счет одиноких старых дев среднего сословия. К 1934 году из старших в живых оставались лишь трое: умалишенная тетя Шарлотта, тетя Энджела, которую в 1912 году нечаянно осенило купить домик и крошечную ренту, и дядя Уолтер, неуверенно существовавший на куцый остаток наследной доли, управлявший каким-то ничтожным «агентством».

Гордон рос в атмосфере подштопанной одежды и бараньих хрящей на ужин. Отец его, очередной забитый Комсток, ребенком проявлял, однако, некую сообразительность гуманитарного оттенка, а потому

дедуля, заприметив тягу к чтению и ужас перед арифметикой, само собой, ткнул его изучать бухгалтерию. Так что он дипломированно (и весьма бездарно) занимался финансовым учетом и покупал акции распадавшихся через год компаний, наскребая шаткий годовой доход – то пять, то всего две сотни, с постоянной тенденцией к снижению. Умер он в 1922-м, совсем еще не старым, измученным многолетней болезнью почек.

Поскольку Комстоки являлись семейством хоть бедным, но благородным, нельзя было не выкинуть дикую сумму на «образование» Гордона. Страшная штука «образовательный» психоз! Это означает послать сына в приличную (то есть какую-никакую, но закрытую частную) школу, ради чего немало лет влачить существование, которым побрезговала бы и семья слесаря. Гордона отправили в никудышное претенциозное заведение, где год стоил около ста двадцати фунтов, хотя даже такая плата требовала от домашних бесконечных лишений. Джулию, старшую сестру, фактически оставили без образования (пару раз отдавали в захудалые школьные пансиончики; к шестнадцати годам сочли, что ей вполне достаточно). Гордон ведь «мальчик», и было так естественно пожертвовать «девочкой». Тем более что сына, как сразу решила родня, отличали «способности». Умный Гордон при его замечательных «способностях» достигнет вершин учености, блистательно себя проявит и вернет Комстокам удачу – тверже, восторженнее всех в это верила Джулия. Высокая, намного выше Гордона, нескладная, с худеньким личиком и явно длинноватой шеей гусенка, непременно появлявшегося в мыслях при взгляде на нее. Преданная наивная душа, предназначенная хлопотать по хозяйству, штопать, гладить, обслуживать.

С юности отмеченная клеймом старой девы, Гордона она боготворила. Холила, баловала, носила старые тряпки, чтоб у него был приличный школьный костюмчик, копила весь год карманные полпенни, чтобы дарить ему подарки на Рождество и в день рождения. И разумеется, став взрослым, он отблагодарил сестру, эту дурнушку без «способностей», глубоким презрением.

Даже в его третьеразрядной школе почти все мальчики были богаче. Быстро проведав о бедности Гордона, соученики, как полагается, устроили ему хорошенькую жизнь. Нет, вероятно, большей жестокости к ребенку, чем отправить его в среду деток из значительно более богатых семейств. Никакому взрослому снобу не приснятся муки такого малыша. В школе, особенно начальной, существование Гордона было сплошным напряженным притворством, постоянным усилием представить себя, свою родню не столь нищими. Ох, унижения тех лет! Например, тот кошмар, когда в начале каждого семестра требовалось публично «предъявлять» директору сумму карманных денег, и он показывал свою горстку монеток под хор издевательских смешков. А когда выяснилось, что костюмчик у него из магазина и всего за тридцать бобов! Но хуже всего было в родительские дни. Гордон, тогда еще набожный, горячо молился, чтобы к нему никто не приезжал. Особенно отец; как было не стыдиться такого – поникшего, бледного, как труп, очень сутулого, плохо, совсем не модно одетого? От него так и веяло тоской, беспокойством, неудачей. А он еще имел эту ужасную привычку, прощаясь, на глазах у школяров давать сыну полкроны – лишь полкроны вместо более-менее пристойного десятка бобов! И через двадцать лет Гордона при воспоминании о школе пронизывала дрожь.

Первым итогом всего этого стало, конечно, преклонение мальчика перед деньгами. Он просто возненавидел свою пристукнутую нищетой родню – отца, и мать, и Джулию, и остальных. Возненавидел за их мрачное жилье, дурное платье, вечные охи и вздохи над пенсами, за то, что в доме постоянно звучало «мы не можем себе этого позволить». О деньгах он мечтал с чисто детской неотвязностью. Почему невозможно хорошо одеваться, покупать конфеты и часто ходить в кино? Почему родители у него не такие, как у других ребят? Почему они бедняки? Потому что, делал вывод детский ум, они сами так захотели, им так нравится.

Однако он рос и становился – нет, не менее глупым, но глупым по-другому. В школе он постепенно освоился, угнетали его уже менее свирепо. Успехами не блистал (не занимался и от вершин учености был далек), тем не менее развивал мозги по некоторым полезным для статуса среди однокашников направлениям. Читая книги, которые с кафедры запрещал директор, высказывал неортодоксальные взгляды на англиканскую церковь, патриотизм и нерушимое школьное братство. Тогда же он начал сочинять стишки, чуть позже даже посылать их (неизменно отклоняемые) в «Атензум», «Новый век» и «Вестминстерскую газету». Подобралась, конечно, компания подобных – каждая частная школа имеет кружок критически мыслящей интеллигенции. А в ту пору, сразу после войны, бунтарский дух так обуял Англию, что проник даже за ограды закрытых школ. Молодые, включая самых зеленых юнцов, до крайности взъярились на старших; любой хоть как-то шевеливший мозгами вмиг сделался мятежником. Стариканы ошеломленно забили крыльями, закудахтали о «подрывных идеях». Гордон с друзьями пришли от «подрывных идей» в восторг. Целый год выпускали, размножая на копировальном аппарате, подпольную ежемесячную газету «Большевик», где восхваляли социализм и свободную любовь, призывали к распаду Британской империи, упразднению армии и т. п. Повеселились от души. Каждый начитанный подросток в шестнадцать лет социалист. В этом возрасте крючок в приманке не заметить.

Лихо пустившись рассуждать насчет бизнеса, юный Гордон рано ухватил, что суть всей современной коммерции – надувательство. Забавно, что навели его на эту мысль расклеенные в подземке рекламы. Думал ли он, как выражаются биографы, что придет время и он сам станет служащим рекламной фирмы. Бизнес, однако, оказался не просто жульничеством, поставленным на деловую основу. Ясно увиделось безумное поклонение деньгам, настоящий культ. Ставший, возможно, ныне единственной – согретой *живым чувством* – религией. Занявший престол господний новейший Бизнес-бог, а также финансовый успех или провал вместо библейских добра и зла и, соответственно, иной наказ о долге человеческом. Никаких десяти заповедей, лишь два приказа: жрецам и пастырям – «Твори деньги!», а пастве прислужников и рабов – «Страшись потерять свою работу!» Примерно в это время Гордон наткнулся на книжку «Добродетельные голодранцы» [8], историю про плотника, заложившего все, кроме фикуса, и фикус стал для него символом. Вовсе не белая роза, фикус – цветок Англии! Фикус надо поместить на герб Британии вместо льва и единорога. Никакой революции не будет, пока торчат в окошках эти фикусы.

Ненависть и презрение к родне стихли; во всяком случае, уменьшились. Они все еще очень его тяготили – ветшавшие, вымиравшие дядюшки и тетушки, вконец изболевшийся отец, «слабенькая» (с легкими у нее был непорядок) мать, уже совершеннолетняя, по-прежнему хлопотавшая от зари до зари, по-прежнему не имевшая ни одного красивого платья Джулия. Но теперь он все про них понимал. Не в том дело, что денег *мало*; главное – даже обеднев, они цепляются за мир, где деньги – добродетель, а бедность порочна. Их, неудачников, уверовавших в кодекс денег, губит сознание *непристойности нищеты*. Им даже не приходит в голову мысль плюнуть да просто *жить*, как – и насколько правильно! – живут низшие классы. Шапки долой перед фабричным парнем, что с пятаком в кармане женится на своей милашке! У него-то хоть в жилах кровь, а не цифры доходов и расходов.

Так размышлял юный наивный эгоист. В жизни, решил он, только два пути: либо к богатству, либо прочь от него. Иметь деньги или отвергнуть их, только не эта гиблая трясина, когда на деньги молишься, но не умеешь их добыть. Лично для себя Гордон выбрал принципиальный отказ. Может, вышло бы по-другому, имей он больше склонности к счетным наукам: преподаватели вдолбили, что разгильдяю вряд ли удастся «преуспеть». Ну и ладно! Отлично! Он, напротив, целью поставит именно «не преуспеть». Лучше король в аду, чем раб на небесах, и лучше уж прислуживать чертям, чем херувимам. Итак, Гордон в шестнадцать лет понял, за что бороться – *против* Бизнес-бога и всего скотского служения деньгам. Он объявил войну; пока, конечно, тайную.

Через год умер отец, оставив лишь двести фунтов. Джулия к этому времени уже несколько лет служила: сначала в муниципальной конторе, затем, окончив кулинарные курсы, в гнуснейшем («дамском») чайном кафе у метро «Графский двор». Семьдесят два часа в неделю за двадцать пять шиллингов, из которых более половины она тратила на семейное хозяйство. Теперь, после смерти отца, разумнее всего было бы забрать Гордона из школы и отправить трудиться, а Джулии на двести фунтов обзавестись своим собственным кафе. Но обычная дурь Комстоков – ни Джулия, ни мать даже подумать не могли о прекращении учебы Гордона, со своим странным идеалистическим снобизмом готовые скорее отправиться в работный дом. Две сотни должны пойти на завершение «образования» сына. Гордон не возразил. Да, он объявил войну деньгам, но жуткого эгоизма от этого в нем не убавилось. Он, конечно, боялся пойти работать. Какой мальчик не оробел бы? Господи, строчить бумажки в какой-нибудь дыре! Дядюшки, тетушки уже вздыхали, обсуждая, как его *устроить*, и беспрестанно поминая «хорошие места». Ах, молодой Смит получил такое *хорошее место* в банке! Ах, молодой Джонс получил такое *хорошее место* в страховой компании!.. Похоже, они мечтали всех молодых англичан заколотить в гробы «хороших мест».

Между тем нужно было как-то добывать деньги. Мать, которая до замужества обучала музыке, а иной раз и потом, в моменты безденежья, брала учеников, решила возобновить это занятие. Найти учеников в Эктоне, их предместье, было нетрудно; платы за уроки и заработков Джулии хватило бы, вероятно, чтобы «справляться» пару лет. Только вот слабенькое здоровье миссис Комсток стало как-то совсем уж слабым. Ездивший к умиравшему мужу доктор, прослушав ее легкие, хмуро покачал головой и рекомендовал беречь себя, теплее одеваться, есть питательную пищу, а главное, не переутомляться. Нервная возня с учениками тут подходила менее всего. Сын, правда, ничего об этом не знал. Но Джулия знала, и они с матерью таили от дорогого мальчика грустный диагноз.

Прошел год. Гордон провел его довольно безрадостно, все больше мрачняя из-за обтрепанных обшлагов и жалкой мелочи в кармане, что совершенно уничтожало его перед девушками. Однако в «Новом веке» тиснули его стишок. Мать пока за два шиллинга в час мучилась в промозглых гостиных на фортепианных табуретках. Но наконец Гордон кончил школу, и докучливо суетливый дядя Уолтер вызвался через одного делового приятеля своего делового приятеля попробовать устроить его на «хорошее место» – счетоводом в фирме кровельных красок. Роскошное место, блестящее начало! Юноше открывается возможность при надлежащем упорстве и прилежании подняться там со временем до самых

солидных постов! Душа Гордона заняла. Как свойственно порой слабым натурам, он вдруг взбрыкнул и, к ужасу родни, наотрез отказался даже сходить представиться.

Поднялось суматошное смятение, Гордона не могли понять, отказ от шанса попасть на «хорошее место» ошеломил богохульством. Он повторял, что *такую* работу ему не нужно. Но какую же, какую? Ему хотелось бы *писать*, сердито буркнул Гордон. «Писать»? Но как же жить, чем зарабатывать? Ответа у него, конечно, не было. Имелась смутная, слишком абсурдная для оглашения идея как-нибудь существовать стихами. Во всяком случае, не приближаться к пляскам вокруг денег; работать, только уж не на «хорошеньких местечках». Никто, естественно, этих мечтаний не уразумел. Мать плакала, даже Джулия возражала, огорченно и укоризненно тормозились дядюшка, тетюшки (их тогда еще оставалось с полдюжины). А через три дня случилось страшное несчастье. Посреди ужина мать сильно закашлялась, упала, прижав руки к груди, ничком, изо рта у нее хлынула кровь.

Гордон перепугался. Бессильную, на вид почти покойницу, мать отнесли наверх, и сын понесся за доктором. Недельку мать лежала при смерти; хождения к ученикам в любую непогоду и сквозняки сырых гостиных не прошли даром. Сидя дома, Гордон терзался кошмарным чувством вины (он все-таки подозревал, что матери пришлось буквально жизнью оплачивать последний год его учебы). Противиться стало невозможно, упрямец согласился просить место у производителей кровельной краски. Тогда дядя Уолтер поговорил с приятелем, а тот со своим, и Гордона отправили на собеседование к старому джентльмену со щелкавшей вставной челюстью, и тот взял его на испытательный срок. Гордон приступил, за двадцать пять шиллингов в неделю. И проработал там шесть лет.

Из зеленого Эктона семья переехала в угрюмый многоквартирный дом среди таких же кирпичных казарм за Пэддингтонским вокзалом. Перевезя свое фортепиано, миссис Комсток, едва чуть-чуть окрепла, снова стала давать уроки. Жалованье сына слегка подросло, так что втроем они потихоньку «справлялись», хотя, главным образом, благодаря заработкам матери и сестры. Гордона занимали лишь его личные проблемы. В конторе он был не из худших, зарплату отрабатывал, однако общей жадной успеха не пылал. Надо сказать, презрение к работе неким образом облегчало ему жизнь. Он бы не вынес жуткого конторского болота, если б не верил, что вырвется оттуда. Рано или поздно, так или этак сбежит на волю. В конце концов, у него есть «писательство». Когда-нибудь, наверно, получится жить собственным «пером». Ведь творчество свободно, ведь поэта не душит власть вонючих денег? От всех этих типчиков вокруг, особенно от стариканов, его корежило. Вот оно, поклонение Бизнес-богу! Корпеть, «гореть на работе», грезить о повышении, продать душу за домик с фикусом! Стать «достойным маленьким человеком», мелким подлипалой при галстук и шляпе – в шесть пятнадцать домой, к ужину пирог с повидлом, полчаса симфонической музыки у радиоприемника и перед сном капельку законных плотских утех, если женушка «в настроении»! Нет, эта участь не для него. Прочь отсюда! прочь от денежной помойки! – воодушевлял он себя перед боем, лелея в душе тайный единоличный заговор. Народ в конторе не догадывался о соседстве такого радикала. Никто даже не подозревал, что он поэт (собственно, это было неудивительно, поскольку за шесть лет в печати появилось менее двадцати его стишков). С виду обычный клерк – солдатик безликой массы, которую качает у поручней метро, утром в Сити и вечером обратно.

Ему исполнилось двадцать четыре, когда умерла мать. Семейство рушилось. Из старших оставались тетя Энджела, тетя Шарлотта, дядя Уолтер и еще один дядюшка, вскоре скончавшийся. Гордон и Джулия разъехались по разным адресам: он в меблированные комнаты на Даунти-стрит (улицы Блумсбери как бы уже давали ощущение причастности к литературе), она в район «Графского двора», поближе к службе. Джулии теперь было тридцать, а выглядела она много старше. Здоровье ее пока не подводило, но она исхудала, в волосах появилась седина. Трудилась она все так же по двенадцать часов в сутки, недельное жалование за шесть лет повысилось на десять шиллингов; управительница чайного кафе, чрезвычайно благовоспитанная дама, вела себя скорее как друг, то есть выжимала все соки из «душеньки» и «дорогуши». Через три месяца после похорон матери Гордон внезапно уволился со службы. Так как причин ухода он, по счастью, не назвал, в фирме решили, что нашлось нечто получше, и выдали вполне приличные рекомендации. Но он насчет другого места не помышлял, ему хотелось сжечь мосты, а вот тогда, о! На свободу, глотнуть воздуха – воздуха, чистого от копоты вонючих денег. Не то чтобы он сидел, дожидаясь смерти матери, однако смог расхрабриться лишь сейчас.

Конечно, остатки родни взволновались пуще прежнего. Составилось даже мнение о не совсем здравом рассудке Гордона. Множество раз он пытался объяснить, почему больше не отдаст себя в рабство «хорошему месту», и слышал только причитания «как же ты будешь жить? на что ты будешь жить?». На что? Он не желал всерьез об этом думать. Но, хотя сохранялись смутные мечты существовать на гонорары, хотя он уже был дружен с редактором «Антихриста» и Равелстон помимо публикации его стихов устраивал ему иногда газетные статьи, несмотря на чуть забрезживший в глухом тумане шанс литераторства, все-таки побудило бросить работу не желание «писать». Главным было отринуть мир денег. Впереди

рисовалось нечто вроде бытия отшельника, живущего подобно птицам небесным. Забыв, что птичкам не надо оплачивать квартиру, виделась каморка голодного поэта, но как-то так, не слишком голодающего.

Следующие полгода стали крахом. Провалом, ужаснувшим Гордона, почти сломившим его дух. Довелось узнать, каково месяцами жить на хлебе с маргарином, пытаться «писать» с мыслями только о жратве, заложить гардероб, дрожа проползая мимо двери суровой хозяйки, которой уже четыре срока не платил. К тому же за эти полгода не удалось сочинить практически ничего. Первый результат, понял он, — нищета тебя растаптывает. Явилось чрезвычайно новое открытие того, что безденежье не спасает от денег, а как раз полностью им подчиняет, что без презренного, обожаемого средним классом «достатка» ты просто раб. Настал день, когда его после банального скандала турнули с квартиры. Трое суток он жил на улице. Было хреново. Затем, по совету парня, тоже ночевавшего на набережной, Гордон потопал в порт, чтобы возить оттуда к рынку тачки наваленной вихляющими грудями живой рыбы. С каждой тачки два пенса в руку и адская боль в дрожащих мускулах. При этом толпа безработных, так что сначала еще надо дожидаться очереди; десяток пробегов от четырех до девяти утра считался большой удачей. Через пару дней силы иссякли. Что теперь? Он сдался. Оставалось лишь вернуться, занять у родни денег и снова искать место.

Места, разумеется, не обнаружилось. Пришлось сесть на шею родственникам. Джулия содержала его до последнего пенни своих мизерных сбережений. Кишки сводило от стыда.

Красиво обернулся вызов надменных поз! Отверг деньги, вышел на смертный бой с миром наживы, и вот — приживальщик у сестры! И Джулия, печально тратя последние гроши, переживает больше всего его неудачу. Она так верила в него, единственного Комстока, который добьется успеха. Даже сейчас верит, что он — с его «способностями»! — сможет, если захочет, разбогатеть и всех их осчастливить. Целых два месяца Гордон прожил в Хайгете, в крохотном домишке тети Энджелы (старенькой, иссохшей тети Энджелы, которой самой едва хватало прокормиться). На сей раз он отчаянно искал работу, но дядя Уолтер уже не способен был помочь: его деловые связи, и прежде невеликие, свелись к нулю. Однако вдруг неожиданно повезло — через кого-то, дружившего с кем-то, кто дружил с братом дамы, «поработившей» Джулию, удалось получить место в отделе учета «Нового Альбиона».

«Новый Альбион» был одной из рекламных контор, которых после войны развелось как грибов или, вернее, плесени. Цепкая, пока еще небольшая фирма, хватавшая любой заказ. В частности, тут разработали популярные плакаты суперкалорийной овсянки и мгновенных кексов, хотя основным направлением являлась реклама шляпок и косметики в дамских журналах, а также всяческие мелкие анонсы воскресных газетенок, типа «Полосатые Пастилки снимут все женские недомогания», «Удача по Гороскопу профессора Раратонго», «Семь Секретов Венеры», «Невидимая Чудо-шторка», «Как на досуге заработать Пять Фунтов в неделю», «Кипарисовый Лосьон — красота волос без перхоти» и т. п. Имелся, разумеется, изрядный штат продвигавших коммерцию авторов и художников. Гордон здесь познакомился с Розмари. Заговорил он с ней не сразу. Работавшая в «студии», где изобретали журнальную рекламу, она для него долго оставалась лишь проворно мелькавшей фигуркой, очень привлекательной, но пугающей. Когда они встречались в коридорах, она посматривала с ироничным прищуром и будто слегка насмехаясь, однако же, казалось, чуть-чуть задерживала взгляд. Он, простой клерк из бухгалтерии, не имел отношения к ее творческим сферам.

Стиль работы «Альбиона» отличал дух острейшей современности. Любой тут знал, что суть рекламы — наглый торгашеский обман. В фирме кровельной краски еще держались неких понятий коммерческой чести, в «Альбионе» только поохотали бы над этой чушью. Здесь царил чисто американский подход — ничего святого, кроме денег; трудились, исповедуя принцип: публика — свинья, реклама — грохот мешалки в свином корыте. Такой вот искушенный цинизм, в сочетании с самым наивным, суеверным трепетом перед Бизнес-богом. Гордон скромно приглядывался. Как и раньше, работал без особого пыла, позволяя коллегам взирать на него сверху вниз. В мечтах ничего не изменилось (когда-нибудь он все равно дернет отсюда!), даже после кошмарного фиаско идея бегства не погасла, он лишь присутствовал. Повадки сослуживцев — прилежно ползавших традиционных вечных гусениц или же по-американски бойко, перспективно копошившихся личинок — его скорее забавляли. Интересно было наблюдать холуйские рефлексy, функционирование пугливых рабских мозгов.

Однажды случилось маленькое происшествие. Наткнувшись в журнале на стихотворение Гордона, некто из счетного отдела весело объявил, что «среди нас завелся поэт». Гордону удалось почти натурально посмеяться вместе со всеми. Его после того прозвали «бардом», причем звучало это снисходительно: подтвердилось коллективное мнение насчет Гордона — парню, маравшему стишки, уж точно «не прорваться». Эпизод, однако, имел последствия. Коллегам уже надоело подтрунивать над Гордоном, когда его вдруг вызвал доселе едва знавший о нем главный менеджер, мистер Эрскин.

Грузная неуклюжая статья, широкий румянец и медлительная речь мистера Эрскина позволяли предположить некую его связь с полеводством или животноводством. В мыслях столь же неспешный, сколь в движениях, он был отнюдь не из тех, кто хватается на лету, и лишь демонам бизнеса ведомо, как его занесло в кресло руководителя рекламного агентства. Тем не менее личностью он являлся довольно симпатичной, без характерной для дельцов чванливой спеси и с тугодумием весьма приятного сорта. В общие суждения и предубеждения не вникал, человека оценивал непосредственно, а следовательно, умел подбирать кадры. Новость о клерке, писавшем стихи, его в отличие от прочих не шокировала, даже заинтересовала – «Альбион» нуждался в литературных дарованиях. Глядя куда-то вбок из-под тяжелых век, мистер Эрскин задал Гордону множество вопросов, хотя беседовал лишь с собственным задумчиво гудевшим хмыканьем: «Стихи, стало быть, пишете? Так, хм-м. И как, печатают, а? Хм-м. И что, платят за это самое? Не густо, а? Не густо, хм-м. А тоже свои закавыки, а? Строчки в одну длину равняй и все такое. Хм-м. Еще что-нибудь сочиняете, истории разные, а? Хм, интересно. Хм-м!»

На этом интервью закончилось. Гордону был определен специальный пост секретаря (фактически – подмастерья) мистера Клу, главного штатного литератора. Во всякой рекламной конторе постоянный дефицит текстовиков с толикой воображения. Как ни странно, гораздо проще найти хватких рисовальщиков, чем авторов, способных придумать слоган типа «Экспресс-соус на радость муженьку» или «Детишки утром требуют хрустяшек». Зарплату пока не прибавили, но фирма присматривалась. Открывалась возможность, проявив себя, за год перейти в творческий штат. Вернейший шанс «выбиться в люди».

Полгода Гордон трудился в душном кабинетике, увешанном плакатными триумфами мистера Клу, сорокалетнего сочинителя со стоящей дыбом шевелюрой, куда частенько запускались беспокойные нервные пальцы. Дружески опекавший патрон, объяснив ходы, предложил без стеснения высказывать свои идеи. В момент поступления новичка разрабатывалась серия журнальных анонсов дезодоранта «Апрельская роса» (сенсационной косметической новинки от той самой «Царицы гигиены и красоты», где подвизался Флакسمан), и тайная ненависть Гордона к его службе подверглась неожиданному испытанию. Выяснилось, что у него замечательный, просто врожденный талант к рекламным текстам. Почти не задумываясь, он кидал эти броские, вцеплявшиеся и въедавшиеся, фразы – нарядные пакетики для лжи. Дар слова у него всегда был, но впервые имел явный успех. Мистеру Клу виделось для помощника большое будущее. Сам Гордон смотрел на себя с удивлением, юмором, а затем с тревогой – вон куда занесло! Ловко врать, чтобы трясти монету из болванов! Какая скотская ирония – мечтая стать «поэтом», вытянуть-таки счастливый билетик в сочинении гимнов дезодоранту! Впрочем, ситуация была весьма рядовой. Большинство штатных текстовиков, по слухам, из неудавшихся писателей, да и откуда же им браться?

«Царицу гигиены» весьма порадовал дезодорантовый анонс. Мистера Эрскина тоже. Недельное жалование автору текста повысили на десять шиллингов. Гордона прошиб настоящий ужас. Деньги в конце концов захапали его. Его несет в самую пакость, еще чуть-чуть – и он по уши влипнет в ароматный поросячий навоз. Странно все это происходит: восстаешь против успеха, клянешься никогда «не пробиваться», честно полагая, что и захочешь, так не сможешь, а затем случай, просто некий случайный поворот, и почти автоматом ты «пробиваешься». Он понял – сейчас или никогда. Бежать немедленно! Уносить ноги, пока не засосало.

Только теперь Гордон не собирался смиренно дохнуть с голода. Пошел к Равелстону и попросил помочь. Сказал, что нужна работа, не «хорошее место», а такое, где тело нанимают без претензий заодно целиком прикупить душу. Друг все понял, отлично уловив разницу между «местом» и «хорошим местом»; к тому же не корил за безумие. У Равелстона было великое свойство – умение взглянуть на ситуацию с точки зрения другого человека. Деньги, конечно, способствовали: богач мог себе позволить свободу разума и духа. Более того, богач со связями имел возможность находить другим заработок. Уже через пару недель Равелстон сообщил Гордону, что, пожалуй, кое-что есть. Знакомому книготорговцу, одряхлевшему Маккечни, требуется помощник. Не опытный специалист на полный оклад, а просто человек с приличными манерами, способный толково представлять клиентам книжный товар. Рабочий день длинный, оплата мизерная (два фунта в неделю), повышение не светит, перспектив никаких. Бесперспективно – это было самое то. Поспешив к мистеру Маккечни, сонному старому шотландцу с красным носом и белой бородой в табачных пятнах, Гордон без колебаний согласился. И как раз в это время был напечатан сборник его стихотворений «Мыши». Седьмой издатель из тех, кому он предлагал рукопись, решил опубликовать ее. И это тоже было делом рук хорошо знакомого с издателем Равелстона, который втихомолку постоянно устраивал дебюты неизвестным поэтам. Гордон не знал, думал, что распахнулись двери в будущее, что сам он наконец состоялся, победно не состоявшись типовым человечком с фикусом.

Он подал заявление об уходе из «Альбиона». Не обошлось без неприятных переживаний. Джулию, разумеется, его вторичный отказ от хорошего места привел просто в отчаяние. Розмари (с которой они уже были знакомы) хоть и не отговаривала, уважая принцип «свою жизнь живи по-своему», однако

недоумевала. Но больше всего, как ни странно, расстроила прощальная беседа с главным менеджером. Прямодушный Эрскин, сожалея о потере для фирмы, честно выказал огорчение, воздержался ругать глупца молокососа и попросил лишь объяснить причины. Совершенно невозможно было ни уклониться от ответа, ни соврать про единственно понятное в агентстве «место получше». Гордон начал стыдливо лепетать, что «бизнес как-то не по душе», что «вообще есть намерение писать». Начальник неопределенно загудел: «Писать? Хм-м. Здорово тут можно заработать, а? Не особо? Хм-м, нет, не особо». Сознывая, что выглядит смешно, Гордон пробормотал что-то насчет своей только что изданной книжки. «Сборник стихов», – с трудом проговорил он. Мистер Эрскин искоса глянул на него:

– Стихов? Хм, да, стихов. Прожить-то, как уйдете, на это самое получится, а?

– На это, конечно, не проживешь. Но, может, если иногда печататься...

– Хм! Ладно, вам виднее. Ну, захотите на работу, возвращайтесь. Местечко всегда подберем. Такому, значит, как вы. Не забывайте.

Гордон ушел с тяжелым ощущением своей нелепости, неблагодарности. Но все-таки он сделал это, выдрался из возни вокруг денег. Черт знает что! Тысячи тысяч английских парней изводит безработица, а вот ему, которому от слова «место» тошно, работу предлагают. Еще один пример того, что непременно получишь то, чего искренне не желаешь. Кроме того, врезалось в память прощальное напутствие Эрскина. Вероятно, начальник не болтал. Вероятно, надумай Гордон вернуться, его действительно возьмут. Так что корабли сожжены только наполовину. Канувший «Альбион» мрачно маячит и впереди.

Однако сколько счастья он испытал вначале (лишь вначале) около стеллажей Маккечни! Краткий – ах, очень краткий! – период иллюзий побега из клоаки. Конечно, и книготорговля была сортом торгашеского шельмовства, но все-таки совсем иным! Никаких ловкачей, никаких предприимчивых личинок. Никто из них минуты бы не выдержал в густом застое книжной лавки. Что до обязанностей, основную трудность составляло ежедневно маяться в магазине по десять часов. Старик Маккечни, более всего, пожалуй, отличаясь ленью, не допекал; конечно, шотландский джентльмен, ну так что ж. Во всяком случае, ума хватило не одуреть от жадности. Хозяин также являлся трезвенником, членом какой-то протестантской секты, но это Гордона не волновало. За месяц со дня издания «Мышей» автор нашел тринадцать критических упоминаний о сборнике! В том числе и литприложение «Таймс», где поэт-дебютант был назван «столь много нам обещающим!» Понадобилось еще почти полгода, чтоб осознать полный провал «Мышей».

Катились дни. Когда он прочно, безнадежно засел на два фунта в неделю, пришла реальная оценка своей баталии. Издевка в том, что пламя битвы остывает. В будничных мелочных заботах яркий подвиг становится тусклой привычкой. Нет большего обмана, чем успех. Бросил работу, навек отказался от всех «хороших мест» – отлично, так и нужно было, и обратно ни за что. Только напрасно убеждать себя, что бедность, которую сам выбрал, избавляет от непременных бедняцких напастей. Дело не в бытовых трудностях. Их, положим, перенесешь. Нехватка денег повреждает мозг и душу. Едва доход падает ниже определенной точки, ум скудеет и чувства гаснут. Вера, надежда, деньги – лишь святому под силу сохранить первые две без третьего.

Гордон вырослел, мужал. Двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять. Будущее, утратив розовые тона, проступило конкретно и зловеще. С годами все сильнее ощущалось свое родовое клеймо. Вид родственников угнетал как никогда – его дорожка! Еще пяток лет, и станет похож на них, а потом и совсем таким же! Он чувствовал это даже рядом с Джулией, которую видел чаще других (и у которой, несмотря на многократные клятвенные зароки, регулярно брал займы). Волосы Джулии быстро седали, вдоль худых красноватых щек прочертились резкие борозды. Несбывшееся счастье она заменила отрадой рутинного распорядка. Ее работа в кафе, ее «рукоделие» ночами в единственной комнатке неподалеку от «Графского двора» (третий этаж, с черного хода, девять шиллингов в неделю), иногда посиделки с подругами, такими же старыми девами. Типичное прозябание женщин необеспеченных и незамужних. И она принимала судьбу, едва сознавая, что могло выйти как-нибудь иначе. По-прежнему больше страдала за Гордона, чем за себя. Тихое таяние семейства, где умирали, растеряв капиталы, виделось ей какой-то роковой трагедией. Деньги, деньги! «Никому из нас никогда наверно не разбогатеть!» – вот был мотив ее горестных причитаний. Одному Гордону светила счастливая звезда, и даже он, не проявив воли, бессильно влился в общую унылую колею. После первого шока она, с ее воспитанием, уже не «нападала» на Гордона за то, что тот бросил работу в «Альбионе», но и найти смысл в его поступках не могла. Не умея выразить, женской своей интуицией знала, что оскорбить деньги – смертный грех.

А тетя Энджела и дядя Уолтер – Боже, Боже! Ох, дорогие! Каждый раз, встречаясь с ними, Гордон сам словно становился лет на десять старше.

Дядя Уолтер. Тяжкое зрелище. Ему исполнилось шестьдесят семь, и все проценты его «посреднических операций» вместе с процентами в банке не составляли трех фунтов в неделю. Делами он занимался в крошечном офисном отсеке на Косто-стрит, а жил в сквернейшем дешевом пансионе возле Голландского парка. Это, можно сказать, стало традицией: все джентльмены Комстоки оседали в скверных пансионах. Глядя на бедолагу дядюшку – с его дряблым брюшком, одышкой, совершенно лысым черепом, мешками у водянистых глаз, вечно свисавшими усами, которые он при встрече тщетно стремился закрутить вверх, с его большим бледным, робко напыщенным лицом, слегка напоминавшим сарджентовский портрет Генри Джеймса, – глядя на него, абсолютно невозможно было представить его молодым. Неужели и в нем когда-то бурлила кровь? Неужели и он лазил на дерево, прыгал вниз головой с купальной вышки, влюблялся? Работали ли у него мозги хоть когда-нибудь? В тех своих, хотя бы формально молодых, годах пытался ли он что-то выкинуть? Возможно, несколько робких шалостей – выпивки в унылых барах, парочка визитов к шлюхам, смутный и скучный блуд наскоро (нечто вроде того, что можно вообразить о чувственности мумий в запертом на ночь музее). А потом долгие-долгие годы пустоты, безуспешного бизнеса, одиночества и тихого гниения в пансионе.

При всем том дядюшку на старости лет, видимо, не слишком терзала тоска. Образовалось одно, но постоянно развлекавшее увлечение – болезни. Находя в собственном организме все недуги из медицинского справочника, он никогда не утомлялся их перечислением. Вообще, как заметил изредка заходивший к дяде Гордон, население пансиона поголовно было сосредоточено на этой единственной и неисчерпаемой теме. Полутемную гостиную сплошь заполняли пары облезлых престарелых джентльменов, обсуждавших симптомы своих болезней. Неторопливые беседы пещерных сталактитов со сталагмитами.

Кап, кап: «Как с утра ваш артроз?» Кап, кап: «Мне кажется, слабительные соли дают значительный эффект»...

И тетя Энджела, ей уже было шестьдесят девять. Гордон даже старался не думать о ней: душу выворачивало – чем поможешь?

Милая, славная, кроткая, горемычная тетя Энджела!

Иссохшая, еле живая, кожа как пергамент. Одиноко ютится в своем пригородном коттеджике (вернее, лишь на собственной половине этой лачуги под названием «Кущи шиповника»). Томящаяся в ледяном горном дворце Вечная дева Энджела, которую ни одному мужчине не удалось поцеловать в уста и согреть нежной лаской. Целыми днями в полном одиночестве бродит туда-сюда, держа в руке связку перьев из хвоста непокорного индюка: полирует зеленый глянecь фикусов, смахивает ненавистную пыль с великолепного, изготовленного фабрикой «Корона-Дерби», никогда не бывавшего в употреблении фарфорового сервиза. И время от времени услаждает себя чашечками доставленного на ковре-самолете из-за моря-океана то черного, то цветочного чая «Оранж Пико». Милая, славная, так и не познавшая любви тетя Энджела! Имея ренту девяносто восемь фунтов (по тридцать восемь шиллингов в неделю), она, с привычкой средних классов воспринимать лишь годовой доход, в расходах постоянно превышала недельную норму. Так что порой ей просто пришлось бы голодать, если бы Джулия не носила из кафе пакеты припрятанных кексов и бутербродов, вручая их щепетильной тетушке под веским предлогом: «Осталась кое-какая мелочь, не выбрасывать же?»

Тем не менее даже бедняжка тетя имела свои радости: на склоне лет она пристрастилась к чтению и посещала библиотеку по соседству с «Кущами шиповника». При жизни дедули Комстока дочерям было строго-настроено запрещено читать романы, а потому, начав знакомство с ними только в 1902-м, тетя Энджела, хоть и двигалась потихоньку, но запаздывала в литературных вкусах лет на двадцать. В девятисотых она все еще читала Розу Браутон и госпожу Генри Вуд, в годы войны обнаружила Хола Кэйна и госпожу Хэмфри Уорд, в двадцатые дошла до Сайласа Хокинга и Генри Сетон-Меримена, к тридцатым почти, хотя не совсем, освоила У.Б. Максвелла и Вильяма Дж. Локка. Идти дальше было невозможно. Туманные слухи относительно послевоенных романистов, чересчур «умничавших» аморальных безбожников, никогда не позволили бы ей заглянуть в их книги. Есть наш Уолпол, есть наш Хичинс, зачем еще какой-то Хемингуэй?

Вот так к 1934 году обстояли дела в семействе Комсток. Дядя Уолтер с его «агентством» и его недугами. Обмахивающая пыль с неприкосновенного сервиза тетя Энджела в своих «Куцах шиповника». Тетя Шарлотта, все еще ведущая сумеречно-растительное существование в приюте для умалишенных. Вкалывавшая по двенадцать часов в день, а ночами сидевшая над «рукоделием» Джулия. И зарабатывавший гроши на дурацкой работе, проявлявший себя исключительно противоборством, мучившийся с жуткой, навек застрявшей рукописью почти тридцатилетний Гордон.

Возможно, где-то жили другие родственные Комстоки, ведь у дедули имелось больше десятка братьев и сестер. Но если таковые и были, они, выбившись в люди, потеряли связь с обнищавшей ветвью;

узы денег покрепче кровного родства. Что касается семейства Гордона, то совокупный годовой доход всех пятерых, включая немалый расход на содержание в клинике тети Шарлотты, не достигал шести сотен. Сумма прожитых ими лет составила двести шестьдесят три года. Ни одному не довелось побывать за границей, воевать на фронте, сидеть в тюрьме, ездить верхом, летать самолетом, вступить в брак или завести ребенка. Так почему бы и не дотянуть до гроба в том же стиле? Время шло, время уходило, *ничего новенького у Комстоков не случилось.*

4

Налетчиком лютым, неумолимым

Тополя нагие гнет, хлещет ветер...

Вообще-то ветра в тот день не было. Тишь, гладь да Божья благодать. Гордон шепотом распевал свои вчерашние строчки просто из удовольствия. Забылось, что накануне ночью от них чуть не рвало. Сегодня казалось неплохо, то есть в итоге стихотворение, пожалуй, сложится весьма недурственно.

Слегка размытые туманом, неподвижно чернели узоры ветвей. Далеко внизу пробежал трамвай. Гордон взбирался на городской холм, зарываясь башмаками в сплошь устилавшую тротуар сухую опавшую листву. Вороха листьев шуршали и золотились, как хлопья готовых американских завтраков, будто хозяйка-великанша просыпала на склон всю коробку необходимых по утрам хрустяшек.

Чудо-денек! Не налюбуйтесь! Гордон сейчас был счастлив (насколько можно быть счастливым после целого дня без курева, при капитале в два с половиной пенса плюс «везунчик»). Четверг, короткий рабочий день, и он, освободившись уже с обеда, шел теперь в литературный салон к жившему на Колридж-гроу критику Полу Дорингу.

Потребовалось больше часа, чтоб привести себя в порядок. Когда едва сводишь концы с концами, светскую жизнь вести не просто. Сразу после обеда Гордон – признаться, без горячей воды это было весьма болезненно – побрился. Затем надел свой выходной костюм, всего трехлетней давности, но годный к употреблению – если только накануне ночью не забудешь положить брюки под матрас. Воротничок, для свежести, он вывернул наизнанку, а прореху довольно удачно прикрыл широким узлом галстука. Затем, соскоблив спичкой ламповой копоти, подчеркнул белесые трещины ботинок. Потом, заняв иглу у Лоренхайма, он даже залатал носки – нудное дело, однако надежней, чем замазать чернилами дыры на пятках. Кроме того, в специально припасенную пустую пачку «Золотого дымка» он по дороге вложил сигарету из щели автомата «покури за пенни» – особенно необходимый камуфляж. Нельзя явиться на вечер вообще без сигарет, ну а с единственной вполне прилично, ибо это предполагает, что пачка была полна, и всегда позволяет оправдаться рассеянностью.

Небрежно предлагаешь кому-нибудь: «Закурить не хотите?», в ответ на «спасибо» открываешь свою пачку и ахаешь: «Черт! Где же сигареты? Кажется, едва распечатал». Собеседник смущен, «Нет-нет, последнюю не возьму», – отказывается он. «Да берите мои!» – вступает другой. «О, благодарю вас!» После чего, разумеется, хозяева дома без конца пичкают тебя куревом. Но одну сигарету для поддержания чести иметь надо обязательно.

Сегодня он мог бы закончить свой стишок. Мог бы! Однако вот позвали в гости... Удивительно, как всегда соблазняла перспектива очередной «чайной вечеринки». Живя пугливым квартирантом миссис Визбич, не слишком утомляешься общением. Побывать в чьем-то доме уже праздник. Пружинящее кресло под задницей, чай, сигареты, запах женских духов – поголодав, научишься ценить такие штуки. Правда, сам стиль этих «скучайных вечеринок» никогда не оправдывал надежд. Никаких бесед с блистательно остроумными эрудитами, вообще ничего похожего на беседу; одна трепотня, журчащая повсюду, хоть в Хэмстеде, хоть в Гонконге. И никого стоящего внимания. Мэтры «скучайных вечеринок» были столь хилыми львами, что свита не дотягивала даже до уровня шакалов. В основном далеко не молоденькие курицы, надумавшие презреть чинность своих порядочных домов, дабы всецело отдаться творчеству.

Украшали общество стайки лощеных юнцов, забежавших на полчаса, державшихся своим кружком, хихикавших над компанией других лощеных юнцов и называвших их уменьшительными именами. Гордон обычно слонялся, примыкая к чужим разговорам. Вальяжный Доринг любезно представлял его: «Гордон Комсток, поэт, вы знаете. Написал потрясающе умную книжку «Мыши», ну вы знаете». Пока, однако, таких знающих не попадалось. Для лощеных юнцов, мгновенно его оценивших, он был пустое место. Староват, тускловат и явно беден. И, несмотря на постоянство разочарований, как же он ждал этих литературных чаепитий! Не выходов, так хоть просветов в глухом одиночестве. Чертова бедность – давит бесконечной тюремной изоляцией. Дни за днями не с кем поговорить, ночи и ночи в пустой спальне. Может, это довольно мило для богачей, ищущих поэтического уединения, но если просто некуда деться? О!

Налетчиком лютым, неумолимым... Рядом по мостовой скользил тихо рокошующий поток машин. Гордон смотрел без зависти: кому нужны эти автомобили? Из окна лимузина на него уставилась нарядная

пустоглазая кукла. Паршивки драные! Холеные сучонки на поводочках! Нет, лучше одиноким тощим волком, чем шавкой, поджавшей хвост. Вспомнилась картина раннего утра – стекающие в шахты метро черные муравьиные полчища клерков, людишек-букашек, у каждого в одной руке портфель, в другой газета, а сердца точит страх перед нищенской торбой. Изводящий душу тайный страх! Особенно в холода, когда под свист ветра так ясно видится: зима, торба, рабочий дом, скамейки скверов для ночлега. Так, ну-ну!

Налетчиком лютым, неумолимым

Тополя нагие гнет, хлещет ветер.

Надломились бурые струи дыма

И поникли, как под ударом плети.

Стылый гул трамвайный, унылый цокот,

Гордо реющий клочок рекламной афиши.

Эти толпы клерков, их дрожь и шепот.

Эти стены Ист-Энда, скучные крыши.

Всякий шепчет себе...

Холодно, пасмурно... Вот-вот морозы грянут. А вдруг уволят? Тогда только в рабочий дом. Господь повелел чадам своим в знак верности обрезание плоти. Падай в ноги и боссу сапоги вылизывай... Ага!

Всякий шепчет себе: «Зима подходит.

Боже, только не потерять работу!»

Незаметно в тебя проникает холод,

С ледяным копьём идет на охоту.

Жуть продирает – деньги, деньги! За квартиру, налоги, жалованье не прибавят, счет от директора школы, транспорт, ботинки для детей. Да, еще страховой полис, еще кухарке заплатить. И, Боже мой, жена вроде опять беременна! А я достаточно громко смеялся, когда начальник вчера пошутил? И опять пришел срок платить за пылесос, купленный в рассрочку.

Аккуратно, с удовольствием от точности перечисления, с чувством попадающей в цель конкретности, Гордон отчеканил:

О сезонных билетах, квартирной плате,

О страховке думай, угле, прислуге,

А еще – пылесос, близнецам кровати,

Счет за дочкину школу, пальто супруге.

Неплохо, неплохо пошло. Сегодня дописать пяток строф, и готово. Равелстон почти наверняка опубликует.

На голой черной ветке жалобно разливался скворец, путавший, как все его собратья, теплые дни зимы с ранней весной. Разинув пасть и пожирая его взглядом, толстый рыжий котик замер под деревом в явном ожидании, когда пичужка спорхнет прямо в пасть. Гордон перечел про себя все четыре строфы – вполне. И что это вчера казалось – пустое шелканье? Нет, все-таки поэт. Распрямившись, он зашагал горделиво, почти надменно. Гордон Комсток, автор «Мышей» (тот самый, помните? «столь много нам обещающий»), а также автор поэмы «Прелести Лондона». Эту штуку тоже пора заканчивать, и поскорей. Чего он канителится, хандрит? Захочет, так сделает. Налечь, месяца три, а летом уже можно и печатать. Представилась элегантная книжечка в матовой белой суперобложке: бумага люкс, широкие поля, красивый шрифт. И отзывы самой авторитетной прессы – «выдающийся успех» (литприложение «Таймс»), «долгожданная свежесть подлинно художественной правды» (ред. статья в «Библиографическом обзоре»).

Темноватая и мрачноватая Колридж-гроу располагалась в стороне от шоссе. Улицу плотно (хотя с несколько сомнительным основанием: Колридж, по слухам, гостил тут месяца полтора летом 1821-го) окутала литературно-романтическая аура. Глядя на ветхие старинные особняки в глубине заросших садов, под сенью могучих крон, нельзя было не проникнуться атмосферой «ушедшей культуры». По сей день, несомненно, за стенами этих особняков царит в кругу обожателей седовласый Роберт Браунинг, и леди с обликом моделей картин Сарджента у ног кумира ведут беседы о Суинберне или Уолтере Патере. Весной газоны тут пестрели ковром лиловых и желтых крокусов, чуть позже – колокольчиками звеневших для Питера Пэна и Вэнди хрупких акварельных гиацинтов; даже деревья здесь, казалось Гордону, сплетались

узорами ветвей по прихоти графических фантазий Рэкхема [9] . Нелепо, что в подобном месте теперь поселился критик такого сорта (такого дрянного сорта), как Пол Доринг, регулярно обзоревавший в «Санди пост» и не реже двух раз в месяц обнаруживавший традицию английского романа в писаниях Хью Уолпола. Ему бы шикарно квартировать где-нибудь на углу Гайд-парка. Впрочем, житье в запущенном квартале Колридж-гроу являлось, может, некой добровольной епитимьей, призванной смягчить оскорбленных богов литературы.

Мысленно листая газетные хвалы «Прелестям Лондона», Гордон перешел улицу, но вдруг растерянно остановился. Что-то у ворот Доринга было не так. Что? А, вот что – ни одного автомобиля.

Гордон сделал пару шагов и опять встал, насторожившись, словно гончий пес, почуявший опасность. Странно! Должны стоять машины. К Дорингу всегда съезжалась масса гостей, половина на собственных автомобилях. Неужели никто еще не приехал? Слишком рано? Да нет, назначено на полчетвертого, а сейчас минут двадцать пятого.

Он поспешил к воротам, в общем уже почти уверенный, что вечеринку отменили. По сердцу пробежал тоскливый холодок. Наверное, дату перенесли и сами отправились куда-то! Мысль эта, встревожив, однако, ничуть не поразила. Внутри давно уж прочно поселилась боязнь пойти в гости и никого там не застать. Даже когда сомнений не могло быть, мучил страх, что непременно почему-нибудь сорвется. Кому он нужен, ждать его? И нечего удивляться хозяйской пренебрежительной забывчивости. Ты нищий и обречен существовать под градом сплошных шишек.

Гордон толкнул железные ворота, незапертая створка гулко скрипнула. Мшистую влажную дорожку изящно обрамляла кладка декоративных камушков. Цепким глазом поднаторевшего в дедуктивной методе Шерлока Холмса он оглядел узкий фасад. Так! Ни дымка над крышей, ни огонька сквозь шторы. В комнатах сейчас темновато, хоть где-то свет уже зажгли бы? И на крыльце остался бы хоть один отпечаток обуви шагавших через сырой сад гостей? Сомневаться не приходится: дома никого нет. Однако с отчаянной надеждой Гордон все-таки повернул вертушку звонка. Старомодно-механического, разумеется. Электрический звонок на Колридж-гроу смотрелся бы вульгарно и нехудожественно.

Дзинь, дзинь, дзинь!

Ответом лишь долгое пустынное эхо. Все рухнуло. Гордон схватил вертушку и так крутанул, что едва не оборвал проволоку. По дому раскатился настойчивый оглушительный трезвон. Бесполезно, все бесполезно. Ни шороха. Даже прислуга отпущена. Невдалеке сбоку блеснула пара юных глаз из-под черной челки и кружевного чепчика – служанка выглянула из подъезда соседнего особняка полюбопытствовать, что за шум. Поймав его взгляд, она, нисколько не смутившись, продолжала глазеть. А он стоял дурак дураком. Еще бы, отлично выглядишь, колотясь в пустой дом. И вдруг его пронзило: девчонка все знает о нынешней вечеринке, которую перенесли, уведомив каждого приглашенного, кроме него; и знает почему – такая рвань не стоит лишних хлопот. Слуги всегда всё знают.

Он повернулся и пошел к воротам. Под чужим взглядом следовало удаляться небрежной походкой, с видом легкого, даже позабавившего разочарования. Но он, дрожа от ярости, почти не управлял собой. Сволочи! Погань драная! Сыграть с ним такую шутку! Взгляд упал на изящную цепочку камушков – выбрать бы потяжелее и швырнуть, чтобы стекла вдребезги! Он с такой силой ухватился за ржавый прут ворот, что ободрал, едва не рассадил ладонь. И полегчало. Боль в руке отвлекла от мук душевных. Не просто поманившая и обманувшая надежда провести вечер в человеческой компании, хотя и это было много. Главное – унижительное чувство беспомощности, своей жалкой ничтожности, не дающей повода вспомнить о тебе. Отменив прием, даже не потрудились сообщить, всех известили, только не его – вот что приходится съедать, если пусты карманы! Запросто, не задумываясь, плюнут в морду. Мысли о том, что Доринг, возможно, искренне, без тени дурных намерений, позабыл или случайно спутал дату в приглашении, Гордон не допускал. Ну нет! Доринг сделал это сознательно. Намеренно! Денег нет, так обойдешься, тля ничтожная, без любезностей. Сволочи!

Он быстро шагал. В груди болезненно кололо. Культурный разговор, культурное общение! Ага, короноваться не желаешь? Придется вечер провести как обычно. Розмари еще на службе, да и живет она в Западном Кенсингтоне, в женском общежитии, куда вход перекрыт сторожевыми ведьмами. Равелстон живет поближе, возле Риджент-парка, но у богатого человека масса светских обязанностей, его дома практически не застанешь. Невозможно даже сейчас позвонить ему, нет двух пенни, осталось полтора пенса и «везунчик». И как без гроша сходишь повидаться с Равелстоном? Тот обязательно предложит «зайти куда-нибудь», а разрешать ему покупать выпивку нельзя. Дружба с ним требует абсолютно четко обозначенного – каждый платит за себя.

Гордон достал свою единственную сигарету и чиркнул спичкой. Курить на ходу не доставляло никакого удовольствия; пустая трата табака. Шел он без цели, куда ноги несли, лишь бы усталостью

потушить обиду. Двигался куда-то в южном направлении – сначала пустырями Камден-тауна, потом по Тоттенем-корт-роуд. Уже стемнело. Он пересек Оксфорд-стрит, миновал Ковент-гарден, вышел на набережную, перешел мост Ватерлоо. К ночи стало заметно холодать. Гнев постепенно стихал, но настроение не улучшалось. Терзала постоянно осаждавшая мысль, от которой он нынче сбежал, но от которой никуда не деться. Его стихи. Бездарные, тупые, бесполезные! Неужели он хоть на миг в них поверил? Можно ли было убедить себя в каких-то надеждах относительно «Прелестей Лондона»? Гордона передернуло. Состояние напоминало утро после пьянки. Сейчас он доподлинно знал, что ни в стихах его, ни в нем самом нет никакого смысла. Поэма останется лишь кучей мусора. Да проживи он еще сорок сотен лет, не написать и одной стоящей строки. Ненавидя себя, он мысленно повторял, скандировал последний сочиненный кусок. Расщелкался, щелкунчик! Рифма к рифме, трам-блям, трам-блям! Гремит пустой жестяной. Жизнь потратил, чтобы наворотить такой навоз.

Он уже прошел миль шесть-семь. Ноги устали, и ступни горели. Теперь он находился где-то в Ламбете, в трущобах узких, грязных, тонувших во тьме улочек. Фонарные лампы, мерцая сквозь сырой туман редкими звездами, ничего не освещали. Гордона начал мучить голод. Торговые кафе соблазняли аппетитными витринами и надписями мелом: «Крепкий двойной чай. Только свежая заварка». Но только мимо, мимо, со своим дурацким неразменным трехпенсовиком! Под какими-то гулками железнодорожными аркадами он выбрался к мосту Хангерфорд. На воде качались помойные отбросы туземцев Восточного Лондона: пробки, лимонные корки, горбушки хлеба, разбитые бочки, всякий хлам. По набережной он зашагал к Вестминстеру. Шурша ветвями, пронесся сильный порыв ветра. *Налетчиком лютым, неумолимым...* Гордон скрипнул зубами – заткнись! Хотя уже стоял декабрь, несколько старых измызганных оборванцев укладывались на скамейках, обертывая себя газетами. Гордон равнодушно скользнул глазами: обленившиеся попрошайки. Может быть, сам когда-нибудь докатится. Может быть, так оно и лучше. Чего жалеть заматеревших нищих бродяг? Срединно-средняя мелюзга в черных отглаженных костюмчиках – вот кто нуждается в сочувствии.

Он был уже у Трафальгарской площади. Как-то убить время. Национальная галерея? Да ну, давно уж заперли. Куда податься? Четверть восьмого, до отбоя еще часы и часы. Медленно шаркая, он семь раз обошел площадь: четыре раза по часовой стрелке, три раза обратным ходом. Ступни просто пылали, пустых скамей было полно, но ни садиться, ни останавливаться нельзя – тут же начнет душить тоска по куреву. Кафе на Чаринг-кросс манили, как сирены из морских волн. Каждый хлопок стеклянной двери обдавал ароматом пирожков. Он почти сдался. Ну а что? Целый час в тепле, чай за два пенса и пара булочек по пенни. У него же, с «везунчиком», даже на полпенса больше. Проклятый медяк! Девка в кассе захихикает. Ясно увиделось, как она, вертя его «везунчик», подмигивает товарке-официантке. И обе знают, что это его последний грош. Забудь, не выйдет. Топай дальше.

Высвеченная ярким мертвящим неоном улица кишела людьми. Гордон протискивался – хилая фигурка с бледным лицом и взъерошенной шевелюрой. Толпа спешила мимо; он сторонился, его сторонились. Что-то ужасное есть в оживленном вечернем Лондоне: черствость, безличность, отчужденность. Семь миллионов человек снуют в толпе, замечая друг друга с обоюдным вниманием рыб в аквариуме. Встречалось немало симпатичных барышень. Глядели они нарочито строго или в сторону – пугливые нимфы, боящиеся мужских взглядов. Девушек с кавалерами, заметил Гордон, гораздо меньше, нежели бегущих одиноко либо с подружками. И это тоже деньги. Много ли красоток готовы сменить отсутствие кавалеров на неимущего друга?

Из открытых пабов струился запах пивной свежести. Парами и поодиночке народ спешил в двери кинотеатра. Остановившись перед завлекательной витриной, Гордон под наблюдением усталых глаз швейцара принялся изучать фотографии Греты Гарбо в «Разрисованной вуали». Страшно хотелось внутрь, не ради Греты Гарбо, а, уютно облокотившись, передохнуть на плюшевом сиденье. Гордон, конечно, ненавидел фильмы и в кино, даже когда мог себе позволить, ходил редко. Нечего поощрять искусство, придуманное вместо книг! Хотя некую притягательность киношки не оспорить. Сидишь с комфортом в теплой, пропахшей сигаретным дымом темноте, безвольно впитывая мигающий на экране вздор, отдаваясь потоку ерунды, пока не утонешь в этом дурмане, – что ж, вид столь желанного наркотика. Подходящий гашиш для одиноких. Ближе к театру «Палас» караулившая в подворотне шлюха, приметив Гордона, вышла на тротуар. Коренастая итальянская коротышка, совсем девчонка, с огромными черными глазами. Миленькая и, что редкость у проституток, веселая. На миг он замедлил шаг – девчонка глянула в готовности ответить щедрой улыбкой. Что, если заговорить с ней? Смотрит так, будто способна кое-что понять. Не вздумай! Ни шиша в кармане! Гордон быстро отвел взгляд, устремившись прочь пуританином, коего бедность обрекла на добродетель. Вот бы она рассвирепела, потратив время, а затем узнав, что джентльмен не при деньгах! Шагай, шагай, братец. Нет денег даже поболтать.

Обратно через Тоттенем-корт он тащился, еле передвигая ноги. Десять миль по уличному камню. Мимо бежали девушки, много девушек – с парнями, с подругами, в одиночку; жестокие молодые глаза, не

замечая, глядели сквозь него. Уже надоело обижаться. Плечи согнула усталость, он больше не старался держать спину и гордо задирает подбородок. Ни одна не посмотрит, не оглянется. А разве есть на что? Тридцать скоро, кислый, линиялый, необаятельный. Какой барышням интерес тебя разглядывать?

Вспомнилось, что давно пора домой (мамаша Визбич ужин после девяти не подавала). Но возвращаться в пустую холодную пещеру – вскарабкаться по лестнице, засветить газ, плюхнуться перед столом и звереть, поскольку делать нечего, читать нечего, курить нечего, – ох, нет, ни за что. Несмотря на будний день, пабы Камден-тауна были набиты битком. Возле двери болтали три толстухи, похожие на кружки в их грубых обветренных руках. Изнутри неслись хриплые голоса, пивной запах и клубы дыма. Флаксман небось сидит в «Гербе». Может, рискнуть? Полпинты горького три с половиной пенса, а в кармане даже четыре и полпенни, с «везунчиком». В конце концов, «везунчик» – законное средство платежа.

Жажда уже просто доконала, не надо было позволять себе думать о пиве. Подходя к «Гербу», он с улицы услышал гремевший внутри хор. Большой нарядный паб сиял, казалось, особенно ярко. Десятка два осипших мужских глоток ревели:

За 'рруга чашу подымай,
За 'рруга чашу подымай,
За 'рруга доррого-ого!
И за 'ссах нас по кругу!

Дикция певцов, правда, оставляла желать лучшего; текст звучал, булькая со дна выпитого пивного моря. Сразу виделись налитые багрянцем лица сорвавших хороший куш водопроводчиков. Но пели мастера иного ремесла. В баре имелась задняя комната, где собирались для своих секретных совещаний крутые парни, и, несомненно, это громышал праздник «быков». Видимо, чествуют своего Главного Парнокопытного, или как там у них. Гордон заколебался: в бар, а может, в общий зал? В баре бутылочное, в зале разливное – лучше в зал! Он пошел к другой двери, следом не совсем членораздельно несло:

По кругу пей,
По кругу, хэй!
За 'ссах нас и за 'рруга!

На мгновение его охватила страшная слабость. Устал, оголодал, измаялся. Ясно представилась жвачно-животная пирушка: пылающий камин, огромный сверкающий стол, по стенам бычьи фотопортреты. Поскольку пение вдруг смолкло, увиделось, как два десятка здоровенных багровых морд разом ткнулись в большие кружки. Пошарив в кармане, Гордон удостоверился, что злосчастный трехпенсовик на месте. Ну что? В набитом общем зале кто будет на тебя смотреть? Хлопни «везунчик» на стойку с развеселым видом, вот, мол, «ха-ха, сберег рождественское счастье!». Все вокруг посмеются твоей шутке. Язык во рту шевельнулся, будто уже влажнея пивной пеной. Гордон потрогал пальцами ребро монетки, не решаясь. Вдруг быки вновь грянули:

По кругу пей,
По кругу, хэй!
За 'рруга доррого-ого!

Гордон вернулся к бару. Матовое окно к тому же изнутри запотело, но сбоку оставался узенький просвет, и можно было заглянуть. Да, вон он, Флаксман.

Переполненный салон бара, как любое помещение, когда смотришь на него в окно с улицы, выглядел несказанно прекрасным. За каминной решеткой сверкал огонь, играя и осыпая бликами полировку медных плевательниц. Казалось, даже сквозь стекло бьет ароматом пива. Флаксман сидел у стойки с двумя нахальными дружками из породы не в меру бойких страховых агентов. Небрежно облокотясь, нога на перекладине, в руке полосатый бокал пива, «дородный малый» заигрывал со смазливенькой белокурой барменшей. Та стояла позади стойки на стуле, расставляла по стеллажу бутылки пива и смеялась через плечо. Не слыша слов, понять сюжет было нетрудно: Флаксман потрясающе сострил, дружки заготовили – блондиночка, смущенно и восхищенно хихикая, вильнула круглой попкой.

Сердце Гордона заныло. Там, только бы оказаться там! Посидеть в компании, выпить, покурить, поболтать, пофлиртовать с девчонкой! А почему нет? Взять взаймы шиллинг у Флаксмана, с ним это просто. Пробасит на свой лад: «Хохо, парнишка! Как жизнь? Валяй сюда. Что? Монету? Да хватай две, на-ка, лови!» – и пустит пару шиллингов по скользкому прилавку. Флаксман вообще-то малый неплохой.

Гордон взялся за дверь. Вот он уже слегка толкнул ее. Навстречу пахнуло теплом, пивом и табаком – знакомый живительный запах. Однако, едва почувствовав его, нервы не выдержали. Нет! Нельзя. Гордон плотно притворил дверь. Нельзя с четырьмя пенсами заходить в бар. Никогда никому не позволяй платить за твою выпивку! Первая заповедь для бедняка. Он торопливо отошел и ринулся в уличный сумрак.

За ‘рруга доррого-ого!

И за ‘ссех нас по кругу!

По кругу, хэй,

По кругу...

Постепенно слабеющие вдали голоса, растаявший зов пива. Гордон достал «везунчик» и с размаху зашвырнул в темноту.

Осталось только идти (кое-как плестись) к Виллоубед-роуд. Не то чтобы туда тянуло, но ноги просто подкашивались, а его мерзкая пещера была единственным в Лондоне местом, где он купил себе право сесть и отдохнуть. В прихожей, несмотря на все старания тихо пробраться, обмануть слух миссис Визбич не удалось – хозяйка, конечно же, успела метнуть свой обычный бдительный взгляд. Девять пробило лишь минут пять назад, и еще сохранялась возможность, попросив ужин, получить его. Но миссис Визбич оказала бы столь бесценную любезность со столь каменной физиономией, что предпочтительнее было лечь голодным.

Гордон стал подниматься и одолел уже половину марша, когда за спиной бухнул, отозвавшись екнувшей селезенкой, громкий двойной удар. Почта! А вдруг от Розмари?

Лязгнула наружная откидная створка почтовой прорези, и, с напряжением глотающей камбалу цапли, из щели на циновку вытолкнуло порцию писем. Сердце заколотилось. Конвертов шесть-семь. Хоть одно для тебя? Хозяйка, как всегда, хищно бросилась на стук почтальона. Надо сказать, Гордону за два года еще ни разу не довелось самому поднять свое письмо. Ревниво прижав всю корреспонденцию к груди, миссис Визбич изучающе просматривала конверты. Судя по выражению ее лица, в каждом послании подозревались либо непристойная записка, либо реклама презервативов.

– Вам, мистер Комсток, – процедила она, вручая одно письмо.

Сердце сжалось и остановилось. Конверт продолговатый – стало быть, не от Розмари. Ага, адрес собственным его почерком – значит, из редакции. Из «Калифорнийской панорамы» или «Первоцвета». Марка, однако, не американская. А в «Первоцвете» стихи держат уже полтора месяца! Господи милостивый, взяли!

Он забыл о существовании Розмари. «Спасибо!» – и, сунув письмо в карман, бодро поспешил наверх, а лишь скрылся из поля зрения миссис Визбич, понесся через три ступеньки. Открыть конверт требовалось, конечно, в одиночестве. Еще не дойдя до двери, он уже держал наготове спичечный коробок, но пальцы, когда он отвернул светильный вентиль, так дрожали, что газ никак не вспыхивал. Наконец он сел и вытащил письмо. Помедлил, слегка страшась. Ощупал: начинка была довольно толстой, как-то уж слишком толстой. Кляня себя идиотом, он быстро надорвал конверт. Из него выпали две страницы его стихотворения и элегантный – чрезвычайно элегантный! – узкий печатный листок, тонированный под пергамент.

...

Редакция сожалеет

о невозможности принять

предложенную рукопись.

Листок был декорирован гравюрой похоронного лаврового веночка.

Гордон смотрел в бессильном бешенстве. Самая страшная пощечина – та, на которую у тебя нет возможности ответить. Внезапно пронзил острейший стыд за свои мерзкие, кошмарно слабые и глупые стишки. Подняв упавшие страницы, он, не глядя, изорвал их и бросил клочки в мусорную корзину. Не вспоминать бы об этом «произведении»! Листок с отказом он, однако, не порвал. Неприязненно провел пальцами по атласной бумаге. Изящная штучка, и как прекрасно отпечатана. Сразу видно – от «благородного», надменно-высоколобого издания с мощной финансовой подпиткой. Деньги, деньги! Культурный мир! Чего, дурак, полез? Нелепая затея посылать стихи всяким «первоцветам», словно туда пускают подобную шваль. Они вмиг, уже по тому, что рукопись не отбита на машинке, видят, кто ты есть. С таким же успехом он мог ожидать билетик на прием в Букингемском дворце. «Первоцвет» публикует других – сбившихся своей компашкой лощеных умников, от колыбельки безумно роскошных и утонченных. Вздумал прорваться на танцульки этих мусиков! Но от язвительности злость не остывала:

педики! жопы драные! «Редакция сожалеет!» Что за манера обязательно фальшь разводить? Сказали бы напрямик: «Не суйся со своими стишками. Мы стихи берем только у парней, с которыми учились в Кембридже. А ты, рабочий скот, знай свое место». Сволочи! Гады лживые!

Скомкав элегантный узкий листок, он отшвырнул его и встал. Лечь спать, пока есть силы раздеться. Может, хоть согреешься. Стоп – заведи часы, поставь будильник! Умирая от усталости, он заставил себя исполнить привычный ритуал. Взгляд упал на торчащий фикус. Два года он в этой мерзости, два абсолютно бесплодных года. Семь сотен канувших впустую дней, с ночами в одинокой койке. Пощечины, отказы, оскорбления – ни на одну обиду не ответил. Деньги, все деньги! Нет их у него. Доринг пренебрег, «Первоцвет» послал к черту, Розмари с ним не ляжет – потому что денег нет. Творческий провал, социальный, сексуальный – все потому, что нищий.

Надо, надо хоть чем-то расквитаться. Не уснешь, думая про нынешний листочек из редакции. И милая Розмари хороша. Пять суток, как не пишет. Было б сегодня от нее письмо, не так бы намертво свалил нокаут «Первоцвета». Говорит, любит, а в постель-то с ним не собирается, даже письма не нацарапает! Такая же, как прочие. Думать забыла, презирает жалкого червяка. Нужно бы написать и хорошенько объяснить ей, что такое чувствовать себя одиноким, оскорбленным, всеми отвергнутым; пусть поймет, как жестоко ее равнодушие.

Гордон нашел чистый лист и вывел в правом верхнем углу:

...

«1 декабря, 21.30. Виллоубед-роуд, 31».

На этом пространным введении энергия иссякла. Не мог он, будучи таким разбитым, придумывать слова. Да и что толку? Она ж не поймет, женщинам ничего не втолкуешь. Однако что-нибудь высказать все же надо. Нечто самое важное, что ее кольнет. После довольно долгих размышлений Гордон написал наконец посреди листа:

...

Ты разбила мне сердце.

Без обращения, без подписи. Довольно изящно смотрелось – одной строчкой, точно по центру белого поля, строгим «интеллигентным» почерком. Даже как некая поэтическая миниатюра. Впечатление это несколько приободрило.

Он запечатал письмо, вышел и отослал в ближайшем почтовом отделении, истратив последний пенс на марку, а последний полпенни – чтобы поставить штемпель на конверте.

5

– Пустим ваше стихотворение в следующем номере, – сообщил Равелстон из окна своего бельэтажа.
– Это вы про какое? – рассеянно поднял брови стоявший на тротуаре Гордон (про свои стихи он, разумеется, всегда помнил всё).

– То, где об умирающей проститутке. Наши считают, довольно крепко сделано.

Гордон успел замаскировать самодовольную улыбку пренебрежительным смешком:

– А! «Смерть проститутки»! Вы, кстати, мне напомнили еще один сюжет. Там насчет фикуса, я вам на днях занесу.

Обрамленное волной каштановых волос, на редкость чуткое мальчишеское лицо Равелстона чуть подалось в глубь комнаты.

– Что-то холодновато, – поежился он. – Может, зайдете? Поболтаем, перекусим.

– Нет-нет, спускайтесь. Я обедал, ходим в паб.

– Отлично, только башмаки надену.

Гордон кивнул, оставшись ждать на улице. О своем появлении он обычно оповещал не стуком в дверь, а брошенным в окно камешком и вообще всячески избегал подниматься к Равелстону. Что-то в атмосфере этой квартиры заставляло почувствовать себя неопытным мелким клерком – без видимых признаков, но всеми порами ощущался высший социальный разряд; относительно уравнивали лишь мостовые или пабы. Самого Равелстона подобный эффект его скромной четырехкомнатной квартирки крайне бы удивил. Полагая житье на задворках Риджент-парка вариацией обитания в трущобах, он выбрал свой пролетарский приют подобно тому, как сноб ради адреса на почтовой бумаге предпочитает каморку в престижном Мэйфере. Очередная попытка сбежать от своего класса и сделаться почетным членом рабочего клуба. Попытка, естественно, провальная, ибо богачу никогда не притвориться бедняком; деньги, как труп, обязательно всплывают.

На привинченной у подъезда медной пластине значилось:

...

П.-В.-Г. РАВЕЛСТОН

«АНТИХРИСТ»

Внизу помещалась редакция. Ежемесячный «Антихрист» был журналом умеренно высоколобых претензий, с направлением неистовой, хотя весьма туманной левизны. Складывалось впечатление, что выпускала его секта яростных ниспровергателей всех идолов, от Христа до Маркса, совместно с бандой стихотворцев, отвергавших оковы рифм. Здесь отражался не вкус Равелстона, а его вредное для редактора мягкосердечие и, соответственно, участливость. На страницах «Антихриста» мог появиться любой опус, если редактору казалось, что автор бедствует.

Равелстон появился через минуты, без шляпы, натягивая пару лайковых перчаток. Состоятельность видна с первого взгляда. Униформа весьма обеспеченных интеллигентов: старое твидовое пальто (которое, однако, шил великолепный портной и которое от времени приобретает еще более благородный вид), просторные фланелевые брюки, серый пуловер, порывевшие кофейного цвета ботинки. В этом – декларативно презирующем буржуазные верхи – костюме Равелстон считал необходимым бывать и на светских раутах, и в дорогих ресторанах, не понимая, что низам недоступен подобный эпатаж. Годом старше Гордона, выглядел он значительно моложе; высокий, худощавый и широкоплечий, с грацией аристократических манер. Но было нечто странно примиряющее в его жестах и в выражении лица. Какая-то постоянная готовность принять, пойти навстречу. Высказывая свое мнение, он смущенно потирал переносицу. Вообще, каждым движением и взглядом извинялся за цифру своего дохода. Как Гордона мгновенно ранили намеки на пустой кошелек, его легко было ввести в краску, напомнив про неприлично толстый бумажник.

– Так, стало быть, трапезы отвергаете? – шутливо уточнил он богемным говорком.

– Только что от стола, но, может, вы хотите?

– Я? О, нисколько! Сыт, как гусь под Рождество.

Двадцать минут девятого, Гордон не ел с полудня. Равелстон, между прочим, тоже. И если Гордон другу редактору поверил, тот хорошо знал, что поэт голоден, да и сам Гордон понимал, что Равелстон про него знает. Но сейчас оба должны были скрывать свой аппетит. Вместе они практически никогда не ели. Рестораны и даже приличные кафе Гордону были не по карману, а о том, чтобы платил Равелстон, и речи быть не могло. Нынче продавец книжного магазина, по случаю понедельника располагавший четырнадцатью пенсами, мог себе позволить пару кружек пива. При всякой их встрече массой деликатных маневров выбиралось нечто такое, где каждому не пришлось бы истратить больше шиллинга. Взаимно поддерживался негласный договор о якобы достаточно близком жизненном уровне.

Они двинулись. Гордону нравилось идти рядом; он с удовольствием взял бы спутника под руку, хотя, конечно, никогда бы не решился. Такой обшарпанный, невзрачный рядом с высоким, органично элегантным Равелстоном. Равелстона он обожал и потому стеснялся. У того кроме обаятельных манер было особенное коренное благородство, некая необычайно красивая, нигде больше Гордону не встречавшаяся жизненная позиция. Разумеется, и тут привилегии богача. Деньги дают так много. Позволяют быть терпимым и тактичным, не суматошливым, великодушным, бескорыстным. Но Равелстон вообще был другим. Он как-то, естественным образом или по его собственной воле, не оброс жирком, которым покрываются души состоятельных персон. Собственно говоря, он все время за то и бился, чтоб подобного с ним не случилось. Ради этого половину своих денег тратил на выпуск непопулярного левого журнала, щедро раздавал их на прочие добрые дела, безотказно подкармливая племя сурово упрекавших его совесть побирушек, от поэтов до рисовальщиков на тротуарах. Себе он оставлял около восьми сотен в год. Понимал, что бюджет не совсем пролетарский, страшно стыдился, но на меньшую сумму прожить не мог. Для него это был такой же минимум, как два фунта в неделю для Гордона.

– Как вам работается? – спросил Равелстон.

– Да как обычно. Скукотища. Беседы с курицами о красотах стиля Хью Уолпола. Меня устраивает.

– Я имел в виду, как пишется? Как ваши «Прелести Лондона»?

– Черт! Не напоминайте, пощадите мои седины.

– Что, плохо продвигается?

– Отчего ж, хорошо. Только назад.

Равелстон вздохнул. На посту редактора «Антихриста» он считал долгом ободрять поникших стихотворцев, и это сделалось его второй натурой. Его не раздражало, не тянуло допытываться, почему

Гордон «не может» писать, почему «не могут» все другие и почему, когда они все-таки могут, сила творений их напоминает стук горошины в огромном барабане. Грустно, сочувственно он произнес:

- Да, пожалуй, не лучшие времена для поэзии.
- Уж это точно.

Гордон, помрачнев, поддал ногой камешек. Вопрос насчет поэмы напомнил о холодной противной комнате, о кипе измарианных листов за фикусом.

– Пишешь и пишешь! А какого хрена? – резко заговорил он. – Корпишь, чиркаешь, нервы себе треплешь, а для кого? Кому сегодня нужны стихи? Блоху дрессировать и то больше толка.

– Нет-нет, зачем же падать духом. В наши дни то, что вы делаете, необыкновенно важно для самой поэтической среды. Например, ваши «Мыши».

- Мои «Мыши»! Тошнит меня от них!

Представилась своя скверненькая, убого изданная книжонка; полсотни недоразвитых стишков, зародыши в лабораторных банках с ярлычками. «Столь много нам обещающий», ага. Продано сто пятьдесят три экземпляра, остальное в уценку. Нахлынула знакомая каждому автору волна презрения, даже ненависти к сделанной вещи.

- Дохлятина! Кучка протухшей, никому не нужной дряни.
- Ну, спрос на книги вообще упал, а на поэзию особенно. Слишком большая конкуренция.

– Я не об этом. Изначально мои стишки дохлятина. Безжизненно, бескровно, несъедобно. Даже не пошло или слабо, а именно мертво, мертвецки мертво, – повторил он, прислушавшись к точному слову и тут же развив образ: – Стишки мертвы, потому что я сам труп. Да и вы мертвы, и все мы. Мертвый мир мертвцов.

Равелстон ответил глухим (и почему-то виноватым) утвердительным бормотанием. Они вырулили на ту главную – главную для Гордона – тему тщетности, хищности и обреченности современной жизни, которой непременно посвящалось в их беседах не менее получаса. Равелстон, правда, ощущал себя при этом слегка неловко. Разумеется, целью «Антихриста» и было указать на бессмысленность существования под пятой гнивающего капитализма, однако внутренне это воспринималось главным редактором как-то теоретически. Имея восемь сотен в год, иначе невозможно. И в те часы, когда Равелстон не думал о шахтерах, китайских кули или безработных Мидлсборо, жизнь виделась ему штукой довольно славной. Кроме того, он свято верил, что социализм скоро восторжествует и все уладится. Гордон, казалось ему, всегда преувеличивает. Впрочем, хотя тут имелось определенное тонкое разногласие, деликатный Равелстон на своем не настаивал.

Но доход Гордона был два фунта в неделю, а потому его буквально разрывало от ненависти ко всему вокруг и желания разбомбить, к черту, весь современный мир. Двигаясь от центра, они шли довольно respectable улицей, мимо аккуратно зашторенных магазинных витрин. С рекламного щита на одном из фасадов жеманно ухмылялась выбеленная светом фонарей метровая харя «Супербульона». Ниже, в окне, мелькнул торчащий фикус. Лондон! Бесконечные ряды стандартных, разгороженных на отдельные норы строений, населенных сонно ползущими к могиле полутрусами, и уличная толпа – шествие блуждающих мертвцов! Мысль о том, что этот образ наваян ему собственным нищим положением, не приходила в голову Гордона. Вновь увиделась туча гудящих над городом бомбардировщиков. Схватив спутника за рукав, Гордон гневно указал на плакат:

- Вы посмотрите, посмотрите-ка на эту мерзость! Эту блевотину! Разве не выворачивает?
- Да, пожалуй, ничего хорошего, притом весьма назойливо, но стоит ли на это обращать внимание?
- Стоит, если весь город обляпали таким дерьмом!
- Что ж, временно придется потерпеть. Капитализм находится в последней фазе, и скоро, надо полагать, такая чушь исчезнет.
- Не чушь, не чушь! Вы приглядитесь – в этой роже вся наша скотская цивилизация: безмозглая, бездушная, приговоренная! Не глянешь, чтоб не вспомнить про пушки и презервативы. Знаете, я на днях просто мечтал о мировом пожаре. Чуть не молился.
- Что и говорить, тревожно. Половина парней в Европе жаждет того же.
- Вся надежда на них. Может, поднимутся.
- О нет, дружище! Будем надеяться, что нет. Последней бойни, право, более чем достаточно.

Разгоряченный Гордон шагал, упрямо повторяя: «Вот это жизнь? Это не жизнь! Трясина, тухлое болото с дохлыми головастиками! Так и вижу – здесь все покойники, ходячие покойники».

– Вы только, по обыкновению, не хотите учесть смены исторических формаций. Ведь все это лишь до поры, когда верх возьмет пролетариат.

– Социализм? Ох, не рассказывайте сказки!

– Вам, Гордон, все-таки стоило бы прочесть Маркса, даже необходимо. Вы бы увидели тогда наше грустное время как стадию. Ситуация непременно изменится.

– Неужели? Что-то непохоже.

– Нам просто, увы, не слишком повезло с эпохой. Гибнем, так сказать, накануне возрождения.

– Насчет гибели очевидно – насчет возрождения пока брезжит.

Равелстон потер переносицу.

– В общем, я полагаю, нужно все же иметь веру. Да, веру и надежду.

– А в особенности деньги, – угрюмо дополнил Гордон.

– Деньги?

– Угу. Прикупить оптимизма. Еще три фунтика в неделю, и, обещаю, стану преданным социалистом.

Равелстон пристально рассматривал мостовую. Гордон готов был проглотить язык. Деньги поганые, обязательно завоняют! Нельзя о них, когда говоришь с человеком более состоятельным. Если уж только как о некой отвлеченной категории, но о таких, которых много в чужом кармане и нисколько нет в твоём, – нельзя! И все-таки сюжет этот магнитом притягивал Гордона. Рано или поздно, чаще всего под влиянием пропущенных стаканчиков, он, с гнусным привкусом нытья, начинал трепать про свою чертову нищету. Случалось, от возбужденной пьяной болтливости, живописал даже какие-нибудь жалостливые детали вроде того, что второй день без курева, что белее в дырах, пальтецо в закладе. Сегодня, мысленно поклялся Гордон, с языка не сорвется ничего подобного. Они как раз шли мимо паба, откуда крепко шибануло хмельной кислятиной. Равелстон, сомкнув ноздри, хотел было ускорить шаг, но соблазненный Гордон остановился.

– Черт! Я бы выпил! – сказал он.

– И я не прочь, – кивнул учтивый Равелстон.

Гордон толкнул дверь в общий зал, приятель последовал за ним. Редактор «Антихриста» был убежден, что любит пабы, особенно те, что попроще. Пабы – заведения пролетарские, уж там ты в самой гуще рабочего класса, не правда ли? Но одному туда заходить Равелстону не доводилось, и выглядел он в пабе как карась на берегу. Душный и все-таки промозглый воздух, скверный прокуренный зал с низким потолком и опилками на полу, дощатые столы испещрены колечками отпечатавшихся кружек. Четыре страшные тетki с огромными грудями-дынями, потягивая в углу портер, последними словами ругали какую-то миссис Круп. Скрестив мощные, как окорока, голые локти, бандитского вида чернобровая буфетчица у стойки мрачно наблюдала за почтальоном и парой работяг, метавших стрелы в картонную мишень. На минуту, пока друзья шли к стойке, воцарилась тишина, народ с откровенным любопытством разглядывал Равелстона – джентльмен в общем пивном зале явление нечастое.

Делая вид, что не замечает произведенного эффекта, Равелстон снял перчатку и, сунув руку в карман, бросил вскользь: «Вам темное?» Но успевший протиснуться вперед Гордон уже выложил на прилавок шиллинг. (За первый заказ обязательно плати ты! Вопрос чести!) Равелстон присел к единственному свободному столику. Развалившиеся вдоль стойки работяги щурились, на лицах явственно читалось «Фраер хренов!». Гордон притащил два стакана с темным пивом. Грубые, как банки для варенья, стаканы были тусклыми и сальными; сверху плавала пленка желтой пены. Табачный дым висел пороховой завесой. Случайно бросив взгляд на изрядно полную плевательницу, Равелстон быстро отвернулся. В голове его промелькнуло, что пиво накачивают из подгнившего подвала по слизистой нечищенной трубе, а стаканы вообще не моют, едва споласкивая в холодной воде. Голодный Гордон, поразмыслив над возможностью взять хлеба с сыром, решил в подтверждение версии сытного обеда: не брать. Он жадно хлебнул пива и закурил отвлекавшую от съестного сигарету. Равелстон тоже сделал большой глоток и осторожно поставил стакан на стол; вкус лондонского разливного, тошнотворного, с ощутимым привкусом химии, заставил непатриотично вспомнить о винах Бургундии. Продолжился спор о социализме.

– Знаете, Гордон, а действительно, пора вам прочесть Маркса, – сказал Равелстон, раздраженный мерзким пивом и потому слегка ужесточивший обычный свой виноватый тон.

– Нет уж, я лучше сударыню Хэмфри Уорд почитаю.

– Но ваше отношение так нелогично. Вы вечно обличаете капитализм, но и единственную альтернативу отвергаете. Здесь невозможно оставаться в стороне, одно из двух.

– Ну не волнует меня ваш социализм, от одного слова в зевоту тянет.

– Серьезный аргумент, и других возражений не имеется?

– Аргумент у меня один – никто не рвется в это светлое будущее.

– О! Как же можно так говорить?

– Можно и нужно. Ведь никто не представляет, что это за штука.

– А вам лично что тут видится?

– Мне? Ну, наверное, какой-то «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли, только не столь забавный. Четыре часа в день на образцовом производстве, затягивая болт номер шесть тысяч третий. Брикеты полуфабрикатов на коммунальной кухне и коллективные экскурсии от дома Маркса до дома Ленина или обратно. Клиники, где делают аборт, на всех углах. И все отлично по всем пунктам! Но туда – не хочется.

Равелстон вздохнул. Ежемесячно его «Антихрист» разносил в пух и прах подобный вариант социализма.

– Хорошо, предположим. А что хочется?

– Знать бы! Нам ведь всегда известно лишь то, чего мы не хотим и от чего нам нынче плохо. Застряли буридановым ослом. Альтернатив, правда, не две, а три, и все как рвотный порошок. Самая первая – социализм.

– Так, и еще две?

– Думаю, самоубийство и католичество.

Атеист Равелстон потрясенно хохотнул:

– Религия? Это, по-вашему, альтернатива?

– А разве нет? Интеллигенцию ведь искушает.

– Нет, подлинных интеллигентов никогда. Впрочем, вот Элиот, конечно... – не закончил Равелстон.

– И, помяните мое слово, туда потекут. Укроются под крылышком матушки церкви. Слегка тухлятинкой несет, зато тепло, не страшно.

Равелстон по привычке потер переносицу.

– Мне кажется, это как раз форма самоубийства.

– Близко к тому. Как и социализм. И то и другое – от отчаяния. Но самоубиваться не по мне, чересчур уж смиренно и покорно. Не желаю просто так уступать свою земную долю, хотелось бы сначала прикончить хоть парочку врагов.

Равелстон улыбнулся:

– Кто же ваши враги?

– Любой с доходом больше пятисот в год.

Упала неловкая тишина. Чистый доход Равелстона составлял примерно две тысячи. Вечно у Гордона прорывались такие фразочки. Дабы рассеять гнетущую паузу, Равелстон, собрав волю в кулак, залпом проглотил две трети пойла, что вполне могло сойти за выпитую порцию.

– Еще по одной? – дружелюбно предложил он. – Пора, кажется, повторить!

Гордон допил до капли и отдал стакан Равелстону. Вот теперь можно позволить и ему заплатить, честь не пострадает. Равелстон, опустив голову, пошел за новой выпивкой. Народ опять с любопытством стал следить; прислонившиеся к стойке возле своих нетронутых кружек работяги глазели молча и нагло. Здешнего пива, понял Равелстон, ему больше не проглотить.

– Нельзя ли два двойных виски? – проговорил он, словно извиняясь.

Буфетчица не шелохнулась, через секунду бросила:

– Чего?

– Пожалуйста, нельзя ли два двойных виски?

– Нету тут виски, спирт не держим. Пиво тут.

Работяги ухмыльнулись в усы («Порядка не знает, фраер гребаный! Ишь ты, в пабе виски свой хренов спрашивать!»). Нежное лицо Равелстона зарумянилось. До сих пор он не знал, что дешевым пабам не по средствам лицензия на крепкие напитки.

– Что ж, можно тогда пару бутылок бархатного?

Но бутылок здесь тоже не держали. Пришлось удовлетвориться четырьмя стаканами бархатного из бочки. Гордон, смакуя, отпил, а потом – еще. От принятого на голодный желудок и более хмельного, чем привычный портер, «баса» в голове зашумело. Потянуло философствовать и плакаться. Он, конечно, твердо решил не заикаться о своей бедности, однако же какого черта?

– Все это, что мы с вами говорили, все это блядство! – заявил он.

– Что именно?

– Да весь этот социализм-капитализм, современное положение и прочая мутотень. На фиг мне современное положение? Да хоть вся Англия кроме меня с голоду будет пухнуть, мне наплевать!

– Вы не преувеличиваете?

– Нет. Мнения отражают лишь наши чувства. А чувства наши от того, сколько в кармане. Вот я брожу, и вижу мертвый город и смерть культуры, и мечтаю, чтоб это рухнуло в тартарары, а почему? Зарплата два фунта в неделю, когда страстно хотел бы пять.

Опять услышав косвенный намек на его барство, Равелстон принялся медленно постукивать указательным пальцем по переносице.

– В определенной мере вы, пожалуй, правы. Маркс говорит нечто довольно схожее, определяя идеологию следствием экономики.

– Да вы вот все по Марксу! Сами-то на себе не пробовали. Что тяготы, хрен с ним, с этими тяготами, неудобствами! Такой становишься забитой жалкой тварью; неделями напролет один – товарищей-то без гроша не заведешь. Писателем себя считаешь, но ни строчки. Тебя просто сливает, как дерьмо в унитаз. Булькаешь где-то во тьме, в канализационных трубах под культурой...

И пошел, и пошел. Это уж непременно начиналось в их интеллектуальных спорах. Плебейская расхристанность, ужасно смущавшая Равелстона, но неодолимо овладевавшая Гордоном. Нужно ведь иногда кому-нибудь излиться, а Равелстон был тем единственным, кто понимал. И бедность, как всякий гнойник, требуется время от времени вскрывать. Гордон начал описывать детали житья на Виллоубед-роуд: душную капустную вонь, столовые флакончики с гущей присохших ко дну специй, отвратная еда, чащоба фикусов. Описал даже тайные ночные чаепития с опасными походами для затопления улик в клозете на нижнем этаже. Равелстон, горько и виновато потупившись, не отрывал взгляда от кривоватого стакана. Грудь ему жег позорно обличавший правый внутренний карман, где рядом с толстой зеленой чековой книжкой лежало немного наличных: восемь фунтов, десятка два шиллингов. Ужасны эти подробности быта! И Гордон только на подступах к бедности, а что же подлинная нищета? Как они выживают, безработные Мидлсборо, по семеро в комнатухе, на двадцать пять шиллингов в неделю? Когда одним приходится так туго, как же иные могут безмятежно разгуливать, имея при себе пачки фунтов и чековые книжки?

– Проклятье! – сокрушенно бормотал Равелстон. – Проклятье! – И все придумывал, под каким же предлогом, не обижая, убедить Гордона взять у него десятку.

Выпив еще пару стаканов, которые вновь заказал Равелстон, они покинули паб. Наступило время прощаться, встречи их всегда длились час-другой, не более. Свидания с богатыми, как посещения вельможных лиц, должны быть краткими. Темнело безлунное и беззвездное небо, дул влажный ветер. Ночь, пиво и жиденький свет фонарей наполнили Гордона мрачной ясностью – никому из богачей, даже таким приличным, как Равелстон, объяснить гнусность нищеты абсолютно невозможно. По этой самой причине сделалось необычайно важным тут же объяснить.

– Вы помните «Рассказ законника» у Чосера? – вдруг спросил он.

– Нет, что-то не припомню. О чем это?

– Я сам забыл, помню лишь первые строфы, где про бедность. Насчет *прав* каждого пнуть тебя! Насчет *желания* тебя пнуть! Нищета вызывает ненависть, и тебя оскорбляют просто из удовольствия оскорбить безнаказанно.

– О нет, ну что вы! – болезненно охнул Равелстон. – Нет, люди все-таки не столь жестоки.

– А! Вы не знаете, что они вытворяют!

Принять, что «люди все-таки не столь жестоки», Гордон никак не хотел. В мысли о сволочах, только и норовящих поглумиться над несчастными бедолагами, была какая-то странная, мучительная радость. Подтверждался собственный взгляд на жизнь. И внезапно, сам ужасаясь, что не может остановиться, Гордон рассказал глубоко ранивший и унизивший его недавний эпизод с приемом у Доринга. Подробно и бесстыдно раскатился целой историей. Равелстон был поражен. Он никак не мог взять в толк, отчего Гордон кипит. Из-за отмены какой-то дрянной чайно-литературной вечеринки? Абсурд! Да он бы, и озолоти его, не пошел на такое сборище. Подобно всем состоятельным людям, Равелстон гораздо чаще стремился избежать общества, нежели искать его.

– Ну право же, – попытался он успокоить Гордона, – не стоит так легко обижаться. Событие ведь, согласитесь, ничтожное?

– Само по себе да, но отношение! Эти снобы, если монет у тебя мало, запросто могут плюнуть тебе в лицо.

– Но почему бы не предположить, что здесь имело место какое-то досадное недоразумение? Почему непременно плевков?

– «И если беден ты, злоба и поношение тебе от брата твоего!» – возгласил Гордон, подражая библейским текстам.

Почтительный даже к мнениям давно почивших, Равелстон потер бровь.

– Это из Чосера? Тогда, боюсь, я должен с ним не согласиться. Никто не презирает вас, ни в коей мере.

– Презирают! И совершенно правы – я противен! Как в этой чертовой рекламе мятных пастилок – «Он снова в одиночестве? Его успеху мешает дурной запах изо рта!». Безденежье такой же дурной запах.

Равелстон вздохнул; несомненно, Гордон все извращает. Они продолжали идти и говорить, Гордон неистово, Равелстон беспомощно протестуя. Сколь бы дико ни преувеличивал поэт, возражать ему было затруднительно. Как возражать? Как богатому дискутировать о бедности с настоящим бедняком?

– А женщины что, если ты с пустым карманом? – развивал тему Гордон. – Женщины – это те еще штучки!

Равелстон довольно уныло кивал, хотя в последнем замечании, напомнившем о его подруге Хэрмион Слейтер, для него мелькнуло наконец нечто разумное. Роман их продолжался уже два года, но с женитьбой они не торопились. «Столько возни!», – лениво морщилась Хэрмион. Она, разумеется, была богата, то есть из состоятельной семьи. Вспомнились ее плечи, сильные, гладкие и свежие, благодаря которым она, снимая платье, казалась вынырывающей из волн русалкой; вспомнились ее кожа и волосы, ласкавшие каким-то сонным теплом, подобно пшеничному полю под солнцем. Разговоры о социализме вызывали у нее зевоту. Отказываясь даже заглянуть в тексты «Антихриста», она отмахивалась: «Не хочу, ненавижу твоих угнетенных – от них пахнет». И Равелстон обожал ее.

– Да, с женщинами сложновато, – признал он.

– Женщины, если сидишь без монеты, просто чертово проклятье!

– Ну, по-моему, вы чересчур суровы. Есть же и нечто...

Гордон не слушал.

– Что рассуждать о всяких «измах», когда вот они, женщины! – переключился он. – Всем им давай одно – деньги; деньги на собственный домик, пару младенцев, лаковую мебель и фикус их любимый. По их мнению, у мужчины возможен лишь один порок – нежелание зарабатывать. И важны для них только твои доходы, больше – ничего. И если кто-нибудь для них хорош, значит – он с деньгами. А денег нет, так нехорош. Убогий и постыдный. И грешный – согрешил против фикуса.

– Вы что-то все про фикусы, – заметил Равелстон.

– Фикус – это самая суть! – заявил Гордон.

Равелстон смущенно поглядел вдаль, потом откашлялся:

– Слушайте, Гордон, а вы не могли бы немного рассказать мне о вашей девушке?

– Ох, дьявол! Ни слова о ней!

И Гордон начал рассказывать о Розмари. Равелстон ее никогда не видел, но и сам Гордон реальную Розмари вряд ли сейчас помнил. Не помнил ни своей любви к ней, ни ее нежности, ни тех счастливых редких встреч, когда им удавалось побыть вместе, ни ее терпеливой стойкости при всех его невыносимых выкрутасах. В голове засело лишь то, что она, негодяйка, не спит с ним и уже почти неделю не пишет.

Ночная сырость и бродившее в желудке пиво очень способствовали тому, чтоб почувствовать себя несчастным брошенным горемыкой. «Ее жестокость» – больше не виделось ничего. Исключительно с целью травить себе душу и повергать в неловкость Равелстона Гордон стал выдумывать Розмари. Яркими штрихами набросал портрет крайне черствой особы, которая, забавляясь им и явно пренебрегая, бездушно играет, держит на расстоянии, но, разумеется, немедленно падет в его объятия, стоит ему чуть-чуть разбогатеть. Равелстон, не совсем поверив, перебил:

– Стойте, Гордон, послушайте. Эта мисс... мисс Ватерлоо, так, кажется, вы ее называли? Ваша девушка, ваша Розмари, она что же, действительно совсем не думает о вас?

Совесть Гордона кольнуло, хотя не слишком глубоко. Что-либо положительное насчет Розмари не выговаривалось.

– Ах, как же, думает! По ее мерке, так, наверно, очень даже она обо мне думает. А чтоб настоящему – нисколько. И не способна, знаете ли, если у меня нет денег. Все деньги, деньги!

– Неужели важны только деньги? В конце концов, много же всякого иного.

– Чего иного? Разве непонятно, что личность связана с доходом? Личность человека – его доход. Чем голодранец может привлечь девушку? Одеться прилично не может, пригласить в театр или ресторан не может, свозить куда-нибудь на уик-энд не может – ни порадовать не может, ни развлечь. И это враки, что, мол, дело не в деньгах. В них! Нет их, так даже встретиться-то негде. Мы с Розмари видимся лишь на улице либо в картинных галереях. Она живет в своем поганом женском общежитии, а моя сука-хозяйка ни за что не позволит привести женщину. Нам с Розмари и остается только ходить туда-сюда по холоду. А что делать, без денег-то?

Равелстон нахмурился – хорошенькое дельце, если даже девушку не пригласить. Он попытался что-то сказать, но не вышло. Виновато и вожделенно представилось голое, золотистое как спелый плод, тело Хэрмион. Сегодня она собиралась непременно прийти; уже, вероятно, пришла, у нее есть свой ключ. Вспомнились безработные Мидлсборо; безработным приходится страдать от постоянных сексуальных лишений, это ужасно! Они подходили к его дому, и Равелстон взглянул на окна – свет горит, стало быть, Хэрмион там.

Чем ближе к подъезду Равелстона, тем сам он делался дороже Гордону. Пора прощаться с обожаемым другом и возвращаться, возвращаться по темным улицам в свою пустую холодную комнатенку. Равелстон сейчас, конечно, предложит: «Зайти не хотите?», а Гордон, разумеется, ответит: «Нет». Заповедь нищего: никогда не обременяй подолгу своим присутствием тех, кого любишь.

Они остановились у входа, Равелстон рукой в перчатке взялся за копьё железной ограды.

– Может, зайдете? – сказал он без излишней настойчивости.

– Нет, спасибо. Пора домой.

Равелстон приготовился открыть калитку, но не открыл. Глядя куда-то поверх головы Гордона, проговорил:

– Слушайте, Гордон, я могу вам кое-что сказать, вы не обидетесь?

– Говорите.

– Ну, понимаете, меня ужасно бесит все это, насчет вас и вашей девушки. Пригласить нельзя и все такое.

– Да ничего, ерунда.

Как только Равелстон заговорил, Гордона прожег стыд за свои дурацкие плаксивые монологи (вот так всегда: вырвется из тебя, потом локти кусаешь). Он тряхнул головой:

– Лишнего я, по-моему, вам наболтал.

– Ну, Гордон, послушайте меня. Позвольте дать в ваше распоряжение десятку. Сводите девушку в ресторан, съездите с ней куда-нибудь, ну, что хотите. У меня такой жуткий осадок при мысли...

Гордон сурово, почти свирепо насупился и сделал шаг назад, как будто на него замахнулись. Раздирало искушение взять. Десять фунтов – огромные деньги! Мелькнула картинка – они с Розмари за столиком, на котором персики и виноград, рядом улыбочиво порхает лакей, поблескивает горлышко темной и запыленной винной бутылки в плетеной колыбели.

– Бросьте вы! – буркнул он.

– Ну поймите, мне приятно дать вам займы.

– Спасибо. Я предпочитаю сохранить дружбу.

– А вам не кажется, что от этой фразы отдает вульгарной буржуазностью?

– А не вульгарно брать у вас в долг? Мне десять фунтов и за десять лет вам не отдать.

– Ну, это бы, пожалуй, меня не разорило. – Равелстон, прищурясь, не отрывал взгляд от горизонта. Не получалось выплатить очередной стыдливый штраф, к которому он почему-то сам себя то и дело приговаривал. – Знаете, у меня довольно много денег.

- Знаю. Поэтому и не беру.
- Вы, Гордон, иногда какой-то совершенно непрошибаемый.
- Есть грех, что ж теперь делать.
- Ну хорошо! Раз так, спокойной ночи!
- Спокойной ночи!

Минут десять спустя Равелстон катил в такси, рядом сидела Хэрмион. Вернувшись, он нашел ее в гостиной; она спала или дремала в огромном кресле у камина. При каждой скучноватой паузе его подруга умела подобно кошкам мгновенно засыпать, и чем глубже был сон, тем бодрее она потом была. Когда Равелстон наклонился к Хэрмион, она, проснувшись, сонно ежась и зевая, с улыбкой потянулась ему навстречу теплой щекой и голой, розовой от каминного огня рукой.

– Привет, Филип! Где это ты шатался? Жду тебя уже целую вечность.

– Заходил выпить с одним приятелем. Вряд ли ты его знаешь – Гордон Комсток, поэт.

– Поэт! И сколько же он занял у тебя?

– Ни пенса. Он весьма своеобразный. Со всякими странными, нелепыми предрассудками насчет денег. Но очень даровит.

- О, твои даровитые поэты! А у тебя усталый вид. Давно обедал?
- В общем, как-то так получилось без обеда.
- Без обеда? Но почему?
- Ну, даже трудновато ответить, случай такой непростой. Видишь ли...

Равелстон объяснил. Хэрмион рассмеялась и, потянувшись, поднялась.

– Филип, ты просто глупый старый осел! Лишить себя обеда, щадя чувства какого-то дикого существа. Надо немедленно поесть. Но разумеется, кухарка твоя уже ушла. Господи, почему нельзя держать нормальную прислугу? И зачем непременно жить в этой берлоге? Едем, поужинаем в «Модильяни».

- Одиннадцатый час, скоро закроют.
- Ерунда! Они открыты до двух, я звоню и вызываю такси. Тебе не удастся уморить себя голодом!

В такси она, все еще полусонная, устроилась головой на его груди. Он думал о безработных Мидлсборо – семеро в комнате, на всех в неделю двадцать пять шиллингов. Но рядом – прильнувшая Хэрмион, а Мидлсборо так далеко. К тому же он был чертовски голоден, и за любимым угловым столиком у «Модильяни» совсем не то, что на деревянной лавке в захарканном, воняющем прокисшим пивом пабе. Хэрмион сквозь дрему его воспитывала:

– Филип, скажи, почему надо обязательно жить так ужасно?

– Ничего ужасного не вижу.

– Да-да, конечно! Притворяться бедняком, поселиться в дыре без приличной прислуги и носиться со всяким сбродом.

– Сбродом?

– Ну, этими, вроде сегодняшнего твоего поэта. Все они пишут в твой журнал только чтоб кланчить у тебя деньги. Я знаю, ты, конечно, социалист. И я, мы все теперь социалисты, но я не понимаю, зачем надо раздавать этим людям деньги, дружить с низшими классами? На мой взгляд, можно быть социалистом, но время проводить в приятном обществе.

- Хэрмион, дорогая, пожалуйста, не говори «низшие классы».
- Но почему, если их положение ниже?
- Это гнусно звучит. Называй их рабочим классом, хорошо?
- О, пусть будет ради тебя «рабочий класс». Но они все равно пахнут!

- Не надо о них так. Прошу тебя, не надо.
- Милый Филип, иногда я подозреваю, что тебе нравятся низшие классы.
- Конечно, нравятся.
- Боже, какая гадость! Б-рр!

Она затихла, устав спорить и обняв его сонной нежной русалкой. Волны женского аромата – мощнейшая агитация против справедливости и гуманизма. Когда перед фасадом «Модильяни» они шли от такси к роскошно освещенному подъезду, навстречу, словно из уличной слякоти, возник серый худющий оборванец. Похожий на лстыню и пугливо виляющую дворняжку, он вплотную приблизился к Равелстону бескровным, жутко заросшим лицом, выдохнув сквозь гнилые зубы: «Не дадите, сэр, на чашку чая?» Равелстон, брезгливо отшатнувшись (инстинкт не одолеешь!), полез в карман, но Хэрмион, подхватив его под руку, быстро утащила на крыльцо ресторана.

- Если б не я, ты бы уже с последним пенни распрощался! – вздохнула она у дверей.

Они уселись за любимый угловой столик. Хэрмион лениво отщипывала виноградины, а изрядно проголодавшийся Равелстон заказал старинному другу официанту весь вечер грезившиеся ему антрекот и полбутылки божоле. Седой толстяк итальянец расторопно доставил на подносе ароматный ломоть. Воткнув вилку, Равелстон надрезал сочную багровую мякоть – блаженство рая! В Мидлсборо они сопят вповалку на затхлых кроватях, в их животах хлеб, маргарин и жидкий пустой чай... И он накинута на жареное мясо с позорным восторгом пса, стащившего баранью ногу.

Гордон быстро шагала к дому. Холодно, пятое декабря, самая настоящая зима. По заповеди Господней обрезай плоть свою! Сырой ветер злобно свистел сквозь голые сучья деревьев. *Налетчиком лютым, неумолимым...* Вновь зазвучавшие внутри строфы начатого в среду стихотворения гадливости не вызывали. Удивительно, как поднимали настроение встречи с Равелстоном. Просто поговоришь с ним, и уже как-то уверенней. Даже когда сам разговор не получался, все равно не было потом чувства провала. Гордон вполголоса прочел все шесть готовых строф – а что, не так уж плохо. Всплывали обрывки того, что он наговорил сегодня Равелстону. В общем, сказал, что думал и думает. Унижения бедности! Разве со стороны понять такое. Тяготы не вопрос, вынести можно, если б не унижение, постоянное скотское унижение. У этих богачей есть право, желание и способы вечно тебя пинать. Равелстон не верит. Слишком он благороден, чтоб поверить. Ему-то, Гордону, лучше знать. Он-то уж знает, знает! С этой мыслью Гордон вошел в прихожую – на подносе белело ожидавшее его письмо. Сердце подскочило. Любое письмо сейчас безумно будоражило. Он через три ступеньки взлетел наверх, заперся и зажег рожок. Письмо было от Доринга.

...

«Дорогой Комсток!

Страшно жаль, что Вы не посетили нас в субботу. Был кое-кто, с кем очень бы хотелось Вас познакомиться. Мы ведь предупредили Вас, что вечеринку с четверга перенесли на субботу, не так ли? Жена уверяет, что сообщила Вам. Как бы то ни было, теперь у нас намечен вечер двадцать третьего – некий чайный «канун Рождества», время обычное. Не захотите ли прибыть? Только на сей раз не забудьте дату!

Искренне Ваши

Пол Доринг».

Под ребрами болезненно свело. Вот оно что Доринг придумал – ошибочка, никаких оскорблений! В субботу он, правда, пойти бы к ним не смог, в субботу у него работа в магазине, но все-таки их приглашение было бы важным.

Сердце заныло, когда взгляд снова упал на строчку «был кое-кто, с кем очень бы хотелось Вас познакомиться». Вечное драное невезенье! Вдруг был случай действительно кого-то встретить? Из каких-нибудь высокоумных редакций? Вдруг предложили бы что-то отрецензировать, или же показать стихи, или еще бог знает что. Возник жуткий соблазн принять версию Доринга. В конце концов, может, и впрямь была записка о переносе даты? Может, напрячь память и вспомнить, поискать в кучах бумаг? Но нет, нет! Гордон подавил искушение. Доринг сознательно пренебрег бедняком. Если ты беден, тебя непременно оскорбят. Ты это знаешь, ты твердо убежден – держись!

Найдя наконец чистый лист, Гордон взял ручку и строгим четким почерком вывел посередине:

...

«Дорогой Доринг!

В ответ на Ваше письмо сообщаю – идите на...!

С искренним уважением,

Гордон Комсток».

Он запечатал конверт, надписал адрес и сразу поспешил на почту. Требовалось отправить немедленно, ибо к утру пыл мог угаснуть. Гордон решительно толкнул письмо в почтовый ящик. Так и еще один друг для него пропал навеки.

6

Женщины, женщины! Вот неотвязная проблема! Ну что бы человеку забыть про это или, как дано прочей живой твари, лишь изредка прерывать равнодушное целомудрие вспышками минутного вожделения. Как петушок – потоптал, прыгнул и пошел, и ни обид, ни утрызений, никакой занозы в мозгах. Без острой надобности вообще не замечает своих подружек и, если те вертятся слишком близко, клюет, чтоб не хватали его зернышки. Повезло хохлатому самцу! А вот злосчастному венцу творения суждено вечно трепыхаться, мучиться памятью и совестью.

Нынешним вечером Гордон даже не стал изображать работу за письменным столом. Сразу после ужина вышел из дома и медленно побрел, размышляя о женщинах. Ночь была не по-зимнему мягкой, туманной. Денег сегодня, во вторник, оставалось четыре шиллинга четыре пенса, так что вполне хватало посидеть в «Гербе». Флаксман с приятелями наверняка там, вовсю веселятся. Но «Герб», в моменты полного безденежья подобный раю, сегодня виделся и скучным, и противным. Душная, грязная, хрипло ревущая пивнуха, насквозь пропитанная исключительно мужским присутствием. Никаких женщин, кроме барменши, с ее двусмысленной улыбкой, сулящей все и ничего.

Женщины, женщины! Густой туман призрачно растворял фигуры снующих прохожих, но пятна фонарного света то и дело выхватывали лица девушек. Весь день сегодня он думал о Розмари, о женщинах вообще и снова о Розмари. С каким-то возмущением думал про ее крепкое маленькое тело, которое еще ни разу не довелось увидеть обнаженным. Что за адское издевательство – мука переполняющих желаний и невозможность утолить страсть! Почему нехватка монет, просто-напросто монет, барьером встает и здесь? В такой естественной, такой необходимой, безусловной части человеческих прав? Влажная ночная прохлада внушала странное томление, смутную надежду на ожидающее впереди женское тело, хотя он знал, конечно, что никто его не ждет, даже Розмари. Пошел восьмой день без ее писем. Поганка – восьмой день! А понимает ведь, что делает; демонстративно показывает, как он надоел с его жалким безденежьем и выклянчиванием нежных ласковых слов. Вполне возможно, больше вообще не напишет. Брезгует, брезгует им, убогим неудачником. Не церемонится, зачем он ей? И верно, чем ты женщину привяжешь, кроме денег?

Навстречу быстро цокала каблучками девушка, свет фонаря дал несколько секунд, чтоб разглядеть ее. Без шляпки, из низов, лет восемнадцати, с круглой и розовой, словно цветок шиповника, мордашкой. Заметив его взгляд, тут же испуганно голову в сторону. Из-под затянутого в талии шелковистого плащика маянце мелькнули стройные молодые ножки. Он чуть было не пошел за ней, но чего добьешься? Убежит или кликнет полисмена. «Посеребрило мои кудри золотые» [10] ... Старый, потертый. Где уж, красоткам не до тебя.

Женщины, женщины! Может быть, в браке все иначе? Хоть он поклялся не жениться – брак лишь набор ловушек Бизнес-бога. Сунешься – и мгновенно в западне: до гроба намертво будешь прикован к «хорошему месту». И что за жизнь! Законные утехы под сенью фикуса. Катание детской колясочки, шашни исподтишка и от суровой женушки графином по башке.

Впрочем, вообще когда-нибудь жениться надо. Брак плох, а одному навеки еще хуже. На минуту даже захотелось надеть оковы, уже наконец очутиться в этом страшном капкане. И брак должен быть настоящим, нерушимым – «в радости и беде, в бедности и богатстве, пока смерть не разлучит вас». Традиционным идеально-христианским супружеством с обетом взаимной верности; а если уж изменишь, так чтоб хватило честности признать, назвать это изменой. Без всякой новомодной американской мути насчет свободного влечения душ. Порезвившись, с липкими от запретного плода усами ползи домой на брюхе и плати. Разбитый о твою башку графин, скандал, сгоревший ужин, крики детей, громы и молнии яростной тещи. Может, это получше твоей жутковатой нынешней свободы? По крайней мере реальная жизнь.

Однако о какой женитьбе раздумывать при двух фунтах в неделю? Деньги! Во всем и прежде всего деньги! Главная подлость, что вне брака порядочных отношений с женщиной не наладить. В памяти пронеслась десятилетняя вереница его временных подружек. Около дюжины их было. Шлюхи тоже. «Comme au long d'un cadavre un cadavre étendu», да, именно «как подле трупа труп» [11]. И всегда, даже если шлюхи, какие-то убогие, всегда убогие. Каждый раз он начинал с не особенно пылкой настырностью, а кончал пошлым и бессердечным дезертирством. Опять они, деньги. Без капитала не предложишь

женщине деловую сделку, да и привередничать нельзя. Берешь такую, какая согласится; потом, естественно, сбегаешь от нее. Для верности, как для всех прочих добродетелей, нужен тугой бумажник. От этих его завихрений с бунтом против корысти и карьеры вечная ложь, вечная грязь в делах любовных. Одно из двух: либо служи всеильному Бизнес-богу, либо забудь про женщин. Только так. И оба пути совершенно невозможны.

Из-за угла блеснул яркий свет, послышался гул оживленной толпы: на Лутон-роуд два вечера в неделю открывался огромный уличный базар. Гордон пошел через торговые ряды, его частенько сюда влекло. Лотки, киоски так загромождали тротуар, что приходилось с трудом пробираться узкими проходами, шагая по месиву капустных листьев. В резком и грубом свете электрических гирлянд красовался товар: багровые куски мяса, оранжевые груды апельсинов, холмы белых или зеленых кочанов брокколи, тушки одеревеневших стеклянноглазых кроликов, связки домашней птицы, bravо выставлявшей ошипанные грудки. Гордон слегка взбодрился, ему нравились этот шум, эта суматоха. Кипящая суэта лондонских рынков всегда вселяла некий оптимизм относительно перспектив Англии. Хотя личного горького одиночества не убавлялось. Повсюду, особенно у прилавков с дешевым нижним бельем, кружили, хохоча и отбиваясь от шуточек пристававших парней, стайки молоденьких девчонок. На Гордона они не смотрели, они вообще его не замечали, только тела их машинально сторонились, пропуская очередного прохожего. Ого! Он даже замер – три юных личика, склоненных над стопками искусственного шелка, нежно белели гроздью примулы или флокса. Пульс участился, душа дрогнула надеждой, немой просьбой. И одна глянула. Но! Мигом, дернув подбородком, отвернувшись, залилась прозрачным румянцем – устрашилась его откровенно алчущих глаз. «Бегут от меня те, что прежде так жаждали меня» [12]. Он побрел дальше. Если б здесь оказалась Розмари! Он бы простил ей, что восьмой день нет письма; он все на свете простил бы ей сейчас. Она же самое дорогое для него, единственная любящая женщина, его спасение от угнетающего, унижающего одиночества.

Взгляд скользил по толпе. Внезапно сердце чуть не выскочило, Гордон поморгал, ему показалось, что он бредит. Да нет же, *правда*! Розмари!

Вон она, шагах в тридцати, словно по волшебству явившись на зов его души и тела. Она пока не видела его, но шла навстречу; гибкая проворная фигурка ловко пробиралась через грязь, лицо едва виднелось из-под плоской, по-мальчишески надвинутой на глаза черной шляпки. Поспешив к ней, он крикнул:

– Розмари! Эй, Розмари!

Из ларька с любопытством высунулся парень в синем фартуке. Но она не услышала в рыночном гаме.

– Розмари! Розмари!

Теперь, подойдя совсем близко, она остановилась и подняла глаза:

– Гордон! Ты здесь откуда?

– А ты?

– Вот иду с тобой повидаться.

– Но как же ты узнала, что я тут?

– Просто я всегда от метро прохожу к тебе этой дорогой.

Розмари иногда приезжала на Виллоубед-роуд. Ждала у подъезда, пока миссис Визбич сходит кисло сообщить мистеру Комстоку: «Вас желает видеть молодая особа», Гордон спустится, и они пойдут пройтись по улицам. Дождаться внутри, хотя бы в прихожей, строго воспрещалось. В устах миссис Визбич «молодая особа» звучало тоном сообщения о чумной крысе. Взяв Розмари за плечо, Гордон слегка притянул ее к себе:

– Боже, какое счастье снова тебя увидеть! Было так гнусно без тебя. Почему ты не появлялась?

Она стряхнула его руку и отступила, метнув из-под шляпки нарочито сердитый взгляд:

– Не прикасайся даже! Я ужасно зла, почти решила больше никогда не видеться после этого твоего свинского послания.

– Какого?

– Известно какого.

– Да нет, я не хотел. Ладно, пойдем отсюда куда-нибудь, где хоть поговорить можно. Пошли!

Он взял ее за руку, но она вырвалась, хотя пошла рядом. Шаги ее были короче и быстрее; казалось, сбоку прилепился шустрый зверек вроде бельчонка. В действительности Розмари ростом была всего чуть-

чуть пониже Гордона и лишь на полгода моложе. Никому, однако, она не виделась старой девой под тридцать, какой фактически являлась. Живая, энергичная, с густыми черными волосами и очень яркими бровями на треугольном личике, своим овалом напоминавшем портреты шестнадцатого века. Когда она впервые снимала при вас шляпку, поражало несколько резко сверкавших в черной шевелюре белых волосков. И это было характерно для нее – не озаботиться убрать вестников седины. Искренне воспринимая себя юной, она уверенно убеждала в том же и остальных. Хотя, если всмотреться, на ее лице уже довольно явственно проступали признаки возраста.

Рядом с Розмари Гордон зашагал смелее. Подругу его люди замечали, да и сам он вдруг перестал быть невидимкой для женщин. Розмари всегда выглядела очень мило. Загадка, как ей удавалось изящно одеваться на свои четыре фунта в неделю. Гордону особенно нравилась входившая тогда в моду плоская широкополая шляпка, некое задорно-вольное подобие пасторских головных уборов. И дерзкое кокетство этой шляпки как-то весьма гармонично сочеталось с изгибом ее спины.

– Обожаю твою шляпку, – сказал он.

Розмари фыркнула, в уголках губ мелькнул отблеск улыбки.

– Приятно слышать, – ответила она, легонько прихлопнув твердый фетровый край над глазами.

Обида еще была на ее лице, и Розмари старалась идти подчеркнуто самостоятельно. Наконец, когда они выбрались из скопища ларьков, она, остановившись, строго спросила:

– Что ты вообще хотел сказать этим письмом?

– Я?

– Да, вдруг получаю: «Ты разбила мне сердце».

– Так оно и есть.

– Разве? А следовало бы!

– Может, и следовало.

Ответ прозвучал полушутливо, однако заставил Розмари пристальнее посмотреть на него – на его бледное истощенное лицо, нестриженные волосы, обычный небрежно-неопрятный вид. Она сразу смягчилась, хотя брови по-прежнему хмурила. Вздохнув (Господи! ну какой несчастный, запущенный!), прильнула к нему, Гордон взял ее за плечи, и она крепко-крепко обняла его, полная нежности и щемящей досады.

– Гордон, ты самое презренное животное!

– Самое?

– Отчего не привести себя в порядок? Пугало огородное. Что за лохмотья на тебе?

– Соответствуют статусу. Знаешь ли, трудновато расфрантиться на два фунта в неделю.

– И обязательно напяливать какой-то пыльный мешок? И пуговица непременно должна болтаться на последней нитке?

Повертев в пальцах висевшую пиджачную пуговицу, она вдруг с чисто женским чутьем заглянула под вылинявший галстук.

– Так я и знала! На сорочке вообще нет пуговиц. Гордон, ты чудище!

– Меня, тебе известно, подобная чепуха не трогает. Дух мой парит над суетой пуговиц.

– Ну что ж ты не отдал свою сорочку, чтобы я, суетная, их пришила? И разумеется, опять небритый. Просто свинство! Можно по крайней мере бриться по утрам?

– Я не могу себе позволить ежедневное бритье, – с надменным вызовом заявил Гордон.

– А это еще что? Бритье, по-моему, стоит не слишком дорого.

– Дорого! Все на свете стоит дорого. Опрятность, благопристойность, бодрость, самоуважение – это деньги, деньги, деньги! Сколько нужно объяснять?

На вид довольно хрупкая, она вновь с неожиданной силой сжала его, глядя как мать на обозленного малыша.

– Идиотка! – покачала она головой.

– Почему?

– Потому что люблю тебя.

- Правда, любишь?
- Ну да, жутко, без памяти обожаю. По причине явного слабоумия, конечно.
- Тогда пошли, найдем уголок потемнее. Мне хочется поцеловать тебя.
- О, представляю! Целоваться с небритым парнем.
- А что? Острота ощущений.
- Острота, милый, притупилась после двух лет общения с тобой.
- Ладно, пойдем.

Они нашли почти неосвещенный проулок среди глухих стен. Все их любовные свидания проходили в местах подобного уединения, исключительно на свежем воздухе. Гордон развернул ее спиной к мокрым выщербленным кирпичам, и она, доверчиво подняв лицо, обняла его с детской нетерпеливой пылкостью. Однако прижатые друг к другу тела разделял некий оборонный щит. И поцелуй ее был лишь ответным, ребячески невинным. Очень редко удавалось пробудить в ней первые волны страсти; причем она, казалось, потом напрочь об этом забывала, так что каждый раз его натиск начинался словно заново. Что-то в ее красиво скроенном теле и стремилось к физической близости, и всячески сопротивлялось. Боязнь разрушить продленную для себя бодрую юность, где еще нет секса.

Оторвавшись от ее губ, Гордон проговорил:

- Ты меня любишь?
- Да, мой дурачок. Зачем ты всегда спрашиваешь?
- Так приятно, когда ты это говоришь. Без твоих слов, я как-то теряю веру в твое чувство.
- Почему же?
- Ну, ты ведь можешь передумать. Я, надо признать, отнюдь не идеал для девушки. Тридцать вот-вот и совсем рухлядь.
- Хватит вздор городить! Будто тебе лет сто! Прекрасно знаешь, что мы ровесники.
- Но я-то весь зашмыганный, потрепанный...

Она потерлась щекой о его суточную щетину. Животы их соприкасались, он подумал, что вот уже два года безумно и бесплодно хочет ее. Ткнувшись губами в ее ухо, Гордон прошептал:

- Ты вообще отдаваться собираешься?
- погоди. погоди, не сейчас.
- У тебя вечно «погоди», второй год слушаю и жду.
- Ты прав. Что я могу поделать?

Он снял ее смешную шляпку и зарылся лицом в густые черные волосы. Мучительно было так почувствовать тело любимой женщины и не обладать им. Приподняв ее маленький упрямый подбородок, он попытался в сумраке разглядеть выражение глаз.

- Скажи, что будешь со мной, Розмари, ну обещай!
- Я тебе повторяю, мне необходимо время.
- Но не до бесконечности! Скажи, что скоро, что как только возникнет возможность?
- Не могу и не буду обещать.
- Розмари, умоляю, скажи «да»! Да?
- Нет.

Держа в ладонях ее невидимое лицо, он прочел из старинного французского стихотворения:

Veillez le dire done selon

Que vous estes benigne et doulche,

Car ce doulx mot n'est pas si long

Qu'il vous face mal en la bouche.

- О чем это? Переведи.

Он перевел:

Вам столь присуща доброта,

Что ваше нежное участие

Должно бы разомкнуть уста

Словечком кратко согласья.

– Гордон, я не могу, честное слово.

– Дорогая моя, «да» ведь произнести гораздо легче, чем «нет».

– Для тебя легче, ты мужчина, а для женщины всё по-другому.

– Скажи «да», Розмари, ну, повтори за мной – «да»! Да!

– Ох, бедный Гордон! Твой попугай совсем тупица.

– Черт! Не шути на эту тему.

Аргументы иссякли. Вернувшись на людную улицу, они медленно пошли вдоль витрин. Проворное изящество и весь ее независимый вид в сочетании с постоянной шутливостью создавали благоприятнейшее впечатление о воспитании, образовании Розмари. А была она дочерью провинциального стряпчего, младшей из четырнадцати детей редкого теперь в средних классах огромного бодро-голодного семейства. Сестры ее или повыходили замуж, или муштровали школьников, или стучали на машинках в офисах. Братья пополнили ряды канадских фермеров, цейлонских чайных агентов, воинов каких-то окраинных частей Индо-Британской армии. Как девушка, чья юность была избавлена от скуки, с девичеством она расстаться не спешила, оттягивая сексуальное взросление, храня верность дружной бесполой атмосфере родного многодетного гнезда. С молоком матери также впитались два правила: честно вести игру и не соваться в чужую жизнь. По-настоящему великодушная, без всяких склонностей к девичьему коварству, Розмари принимала что угодно от обожаемого Гордона. Великодушна она была настолько, что ни разу и намеком не упрекнула его за отказ нормально зарабатывать.

Гордон все это знал, но сейчас его занимало другое. В кругах света под фонарями рядом с подтянутой фигуркой Розмари он виделся себе неряшливым и безобразным. Очень сокрушало, что с утра не побрился. Украдкой сунув руку в карман и ощутив привычный страх, не потерялась ли монета, Гордон с облегчением нащупал ребро двухбобового флорина, основу его нынешнего капитала. Всего же имелось четыре шиллинга четыре пенса. Ужинать, разумеется, не пригласишь. Опять таскаться взад-вперед вдоль улиц; в лучшем случае по чашке кофе. Гадство!

– Вот так, – задумчиво резюмировал он. – Как ни крути, все сводится к деньгам.

Замечание оживило диалог. Розмари быстро повернулась:

– Что значит «все сводится к деньгам»?

– То и значит, что у меня все вкривь и вкось. А на дне всего монета, всегда монета. Особенно в отношениях с тобой. Ты же действительно любить меня не можешь. Деньги преградой между нами, я это чувствую, даже когда тебя целую.

– Гордон, ну *деньги* здесь при чем?

– Деньги при всем. Будь их побольше в моем кармане, ты больше бы меня любила.

– Да с какой стати! Почему?

– Так уж сложилось. Разве непонятно, что чем богаче парень, тем достойнее любви? Посмотри-ка на меня – на мое лицо, мои отрепья, на все остальное. Ты полагаешь, я не изменюсь, имея пару тысяч в год? С приличными деньгами я стал бы совершенно иным.

– И я бы тебя разлюбила.

– Это вряд ли. Сама подумай: после свадьбы ты бы спала со мной?

– Ну что ты спрашиваешь! Ну, естественно, раз мы стали бы мужем и женой.

– Так-так! А предположим я вдруг оказался бы неплохо обеспечен, ты тогда вышла б за меня?

– Зачем об этом? Ты же знаешь, мы не можем позволить себе завести семью.

– Но если бы могли, а? Вышла бы?

– Не знаю, наверное. Тогда, пожалуй, да.

– Вот! Сама говоришь «тогда» – когда денежки засияют.

– Нет! Прекрати, Гордон, тут не базар, ты все переворачиваешь!

– Ничуть, чистейшая правда. Как всякой женщине, в глубине души тебе хочется денег. Хочешь ведь, чтобы я был на хорошей, солидной работе?

– Не в том смысле. Хотела бы я, чтоб тебе больше платили? Конечно!

– То есть я должен был остаться в «Новом Альбионе»? Или сейчас вернуться туда сочинять слоганы для хрустяшек и соусов? Правильно?

– Нет, неправильно. Никогда я такого не говорила.

– Однако думала. Любая женщина думает так.

Он был ужасно несправедлив и сознавал это. Чего уж Розмари не говорила и, вероятно, не способна была ему сказать, так это насчет возвращения в «Альбион». Но его завело. Неутоленное желание все еще мучило. С печалью некоего горчайшего триумфа он пришел к выводу, что прав – именно деньги мешают ему овладеть желанным телом. Деньги, деньги! Последовала саркастичная тирада:

– Женщины! В какой прах они обращают все порывы наших гордых умов! Не можем обойтись без них, а им от нас всегда нужно одно: «Забудь о чести и совести, лучше зарабатывай побольше! Ползай перед боссом и купи мне шубку получше, подороже, чем у соседки!» На всякого мужчину находится хитрая сирена, которая, обвив шею растяпы, затягивает его глубже и глубже – на лужайку перед собственным домиком, домиком с полированной мебелью в рассрочку, патефоном и фикусом на подоконнике. Женщины, вот кто тормозит прогресс! То есть, вообще-то, я насчет прогресса сомневаюсь, – буркнул он, не совсем довольный последней фразой.

– Гордон, ну *что* ты мелешь? Во всем виноваты женщины?

– По сути, виноваты. Это же они свято уверовали во власть денег. Мужчинам просто деваться некуда. Вынуждены покорно обеспечивать подругам их домики, лужайки, шубки, люльки и фикусы.

– Да ну, Гордон! *Женщины*, что ли, изобрели деньги?

– Кто изобрел – не важно. Важно, что женщины создали этот культ. У них какое-то мистическое поклонение деньгам, добро и зло для них всего лишь «есть деньги» или «нет денег». Вот погляди на нас. Отказываешься со мной спать потому только, что в кармане моем пусто. Да-да! Сама минуту назад так сказала. – Он взял ее за руку, Розмари молчала. – Но будь у меня завтра приличный доход, ты тут же со мной ляжешь. Не потому, что торгуешь своими ночами, не так грубо, разумеется. Но внутри глубинное убеждение, что мужчина без денег тебя не достоин. Ты чувствуешь – слабак какой-то недоделанный. Ведь Геркулес, ты почитай у Ламприера [13], божество и силы и достатка. И этот миф – закон благодаря женщинам!

– Гордон, надоело уже твое тупое мужское долдонство! «Женщины то», «женщины се», как будто все они абсолютно одинаковы.

– Конечно, одинаковы! О чем всякая женщина мечтает, кроме надежного семейного бюджета, пары младенцев и уютной квартирки с фикусом?

– Господи, твои фикусы!

– Нет, дорогая, фикусы *твои*! Твое племя их холит и лелеет!

Стиснув его ладонь, Розмари звонко расхохоталась. У нее действительно был изумительный характер, да и тирады его ей казались столь очевидной ерундой, что даже не раздражали. Собственно, обличая женщин, Гордон тоже говорил не вполне серьезно. Основа сексуальных поединков всегда игра; в частности, такие забавы, как ношение маски врагов либо защитниц феминизма. Дальнейшую прогулку сопровождал вечный дурацкий спор о вечной борьбе мужчин и женщин. Полетели все те же (вдохновенно метавшиеся второй год при каждой встрече) дискуссионные стрелы насчет мужской грубости, женской бездуховности, врожденной подчиненности слабого пола и безусловного блаженства такой покорности. И разумеется: а Кроткая Гризельда? а леди Астор? а боевой клич мамыши Панкхорст? [14] а восточное многоженство? а судьба индийских вдов? а благонравная эпоха, когда дамы цепляли к подвязкам мышеловки и, глядя на мужчин, жаждали их кастрировать?.. Взахлеб, без устали, с веселым смехом над нелепостью очередного встречного довода. Радостно воевать, идя так, рядом, держась за руки и тесно прижавшись. Они были очень счастливы, эти двое, представлявшие друг для друга постоянный объект насмешек и бесценное сокровище. Впереди замелькал свет алых и синих неоновых огней. Они подошли к началу Тоттенем-корт-роуд. Обняв Розмари за талию, Гордон увлек ее в глубь ближайшего переулка. Счастье потребовало немедленного поцелуя, и два продолжавших веселиться дуэлянта плотным сдвоенным силуэтом застыли под фонарем.

– Гордон, ты мил, но жутко глуп! Я не могу любить такого старого зануду.

– Правда?

– Правда и только правда.

Не выпуская его из объятий, она слегка откинулась, невинно, однако весьма чувствительно для джентльмена прижавшись низом живота.

– Жизнь все-таки хороша, а, Гордон?

– Изредка бывает.

– Если бы только почаще встречаться! Неделями тебя не вижу.

– Да уж, хреновые дела. Знала бы ты, каково вечерами в моей одиночке.

– Времени просто ни на что, кручусь допоздна на этой свинской службе. А что ты делаешь по воскресеньям?

– Господи! Пялюсь в потолок, терзаюсь мрачными думами, что ж еще?

– А почему мы никогда не ездим за город? Там можно вместе побыть целый день. Давай в следующий выходной?

Гордон насупился. Вернулась отлетевшая на радостные полчаса мысль о деньгах. Поездка за город была не по карману, и он уклончиво перевел сюжет в план общих рассуждений:

– Неплохо бы, конечно. В Ричмонд-парке довольно славно, Хэмстед-хиз похуже, но тоже, пожалуй, ничего. Особенно с утра, пока толпы не набежали.

– Ой нет, давай куда-нибудь на настоящую природу! В Суррей, например, или в Бернхам-Бичез. Представляешь, как там сейчас хорошо – рощи, опавшие листья, тишина. Будем идти, идти мило за милей, потом перекусим в пабе. Будет так здорово! Давай!

Паскудство! Вновь наваливались деньги. Поездка в такую даль, как Бернхам-Бичез, стоит кучу монет. Он быстро стал считать в уме: пять шиллингов сам наскребет, пятью «поможет» Джулия; стало быть, пять и пять. И тут же вспомнилась последняя из бесконечных клятв никогда не «занимать» у сестры. Не меняя спокойно-рассудительного тона, он сказал:

– Идея заманчивая. Надо только подумать, что и как. Свяжемся на неделе, я тебе черкну.

Они вышли из переулочка. В угловом доме помещался паб. Опираясь на руку Гордона и встав на цыпочки, Розмари заглянула поверх матовой нижней части окна:

– Смотри, Гордон, на часах уже полдесятого. Ты, наверно, жутко голодный?

– Ничуть, – быстро и лживо ответил он.

– А я так просто умираю от голода. Зайдем куда-нибудь, что-нибудь поедим.

Опять деньги! Через секунду придется сознаться, что у него только четыре шиллинга четыре пенса и ни гроша больше до пятницы.

– Есть как-то не того, – сказал он, – а вот чашечку кофейку бы не мешало. Пошли, кажется, кафетерий еще открыт.

– Гордон, не надо в кафетерий! Здесь, чуть дальше, такой миленький итальянский ресторанчик, где нам дадут спагетти и бутылку красного вина. Я обожаю спагетти! Пошли туда.

Сердце упало. Никуда не денешься, не скроешь. Ужин на двоих в итальянском ресторане – это минимум пять бобов.

– Вообще-то мне пора домой, – сквозь зубы бросил он.

– Уже? Так рано? О, Гордон...

– Ладно! Если уж *очень* хочешь знать, у меня всего-навсего четыре шиллинга четыре пенса. И мне с ними тянуть до пятницы.

Она резко остановилась. Ладонь ее возмущенно сдвинула его пальцы.

– Гордон, ты олух! Совершенный идиот! Самый кошмарный идиот, которого я видела!

– А что?

– А то, забудь про деньги! Это я прошу, чтобы ты со мной поужинал.

Он высвободил руку и отстранился, не глядя на нее.

– Ты полагаешь, я пошел бы в ресторан и разрешил бы тебе заплатить?

– Но почему нет?

– Не годятся такие штучки. Не по правилам.

– Видали! Ты что, судья на футбольном матче? *Что* «не по правилам»?

– Позволить тебе за меня платить. Мужчина должен платить за женщину, женщина за мужчину платить не может.

– О! Мы еще живем во времена королевы Виктории?

– Да. В подобных вопросах – да. Понятия не меняются так быстро.

– А мои изменились.

– Нет, тебе только кажется, что изменились. Как бы ты ни рвалась к иному, выросла ты женщиной и всегда будешь вести себя по-женски.

– Что ты имеешь в виду?

– Однозначно оценишь данную ситуацию, потеряв уважение к мужчине, зависящему от тебя, висящему у тебя на шее. Ты можешь говорить иначе, даже думать иначе, а на деле будет так. Тут ты не властна, и позволь тебе заплатить за мой ужин, ты тут же станешь меня презирать.

Он отвернулся. Прозвучало довольно неприятно, зато уж сказано как есть. Чувство, что все вокруг, включая Розмари, презирают его, голодранца, захлестывало слишком сильно. Только постоянной, твердой и чуткой самообороной можно было сохранить достоинство. Розмари не на шутку встревожилась. Обвив себя его отчужденно повисшей рукой, она прижалась к нему и сердито, и умоляюще:

– Гордон! Ну что ты, как у тебя язык повернулся говорить о каком-то моем презрении?

– И повторю – так неизбежно будет, если я позволю ходить при тебе паразитом и нахлебником.

– Паразитом! Ну и выражения! Один раз заплачу за ужин – это, значит, ты нахлебник?

Он чувствовал упругость прижатых к его ребрам круглых грудок, видел на запрокинутом лице глаза, которые, хмурясь и чуть не плача, упрекали в жестокости, несправедливости, но близость ее тела оставляла в сознании одно – второй год она ему отказывает. Морит голодом в самой насущной потребности. И какой толк от ее уверений в любви, если, по сути, она его отвергает. С восторгом беспощадности Гордон добавил:

– Собственно, твое презрение уже очевидно. О да, ты любишь, любишь, только вот всерьез меня не принимаешь. Я остаюсь твоей милой забавой, и любишь ты меня не как равного, а несколько снисходительно.

– Нет, Гордон, не так! Ты *знаешь*, это не так!

– Так. Поэтому и не хочешь спать со мной. Разве я не прав?

Она секунду пристально смотрела на него и вдруг, словно от грубого толчка, упала лицом ему на грудь. Спрятала брызнувшие из глаз слезы. Заплакала как ребенок – сердито, с обидой и в то же время доверчиво прильнув. И этот детский плач, ищущий на мужской груди просто защиты, более всего сразил его. Тяжко язва совесть, вспомнились лица других рыдавших на его груди женщин. Видно, единственное, что ему удавалось с ними, это заставить их рыдать. Он погладил ее плечо, неуклюже пытаясь утешить.

– До слез меня довел! – жалобно хлопала она.

– Прости, радость моя! Не плачь, пожалуйста, не плачь!

– Гордон, миленький! Зачем ты со мной так по-свински?

– Прости, прости! Иногда меня здорово заносит.

– Но почему? Зачем?

Справившись с рыданием, она потрянула головой и поискала, чем бы вытереть глаза. Носового платка ни у нее, ни у него не нашлось; слезы нетерпеливо утирались костяшками пальцев.

– Как у нас глупо все! Ну, Гордон, теперь будь послушным мальчиком. Идем, поедим в ресторане, я угощаю.

– Нет.

– Ну один разок! Забудь хоть раз про эти чертовы деньги. Сделай для меня исключение.

– Говорю тебе, не могу. Я должен стоять насмерть.

– В чем?

– У меня война с деньгами, нельзя мне отступать от правил. А первое из них – не брать подачек.

– «Подачек»? Гордон, какой ты болван!

И она обняла его, что означало мир. Не понимала, может быть, и не могла понять, но принимала таким как есть, даже не слишком протестуя против его нелепостей. На подставленных губах он ощутил вкус соли – след бежавших здесь слезинок. Гордон крепко прижал ее к себе. Броня сопротивления растаяла. Закрыв глаза, она прильнула, прихлынула податливо и нежно, рот раскрылся, язычок ее нашел его язык. Такое с ней случалось крайне редко. Вдруг он понял, что их борьба закончилась, она готова отдать себя в любой момент, хотя скорее не своим чувственным порывом, а безотчетной щедростью, стремлением успокоить, уверить в несомненной его мужской притягательности. Без слов об этом говорило тело Розмари. Но даже если бы условия благоприятствовали, он бы не взял ее. Сейчас он просто любил. Желание обладать затихло в ожидании иного часа, не омраченного ни ссорой, ни унижительным сознанием нищих грошей в кармане.

Разомкнув губы, они продолжали стоять обнявшись.

– Как глупо ссориться, да, Гордон? Мы так редко видимся.

– Я знаю. Вечно все испорчу. Ничего не могу поделать. Шерсть дыбом – чего ни коснись, деньги и деньги.

– Деньги! Они чересчур тебя волнуют.

– Еще бы, самая волнующая штука.

– Но мы все-таки в воскресенье едем за город? Погулять по лесу, подышать, о!

– Да, замечательно. С утра и на весь день. Денег я раздобуду.

– А можно мне купить себе билет?

– Нельзя, я сам куплю. Поедем, обещаю.

– И за обед не дашь мне заплатить? Только разок, чтоб доказать мне свое доверие?

– Нет, не пройдет. Я ведь все объяснил.

– Ох, милый! Нам, наверно, пора прощаться, уже поздно.

Они, однако, еще говорили, говорили, так что в итоге Розмари осталась вовсе без ужина. К себе, чтобы не разъярить сторожившую ведьму, она должна была вернуться до одиннадцати. Протопав в самый конец Тоттенем-корт-роуд, Гордон сел на трамвай (на пенни дешевле автобуса). Втиснулся посреди верхней деревянной лавки напротив лохматого худышки шотландца, который, прихлебывая пиво, читал футбольный репортаж. Счастье было ключом. Розмари согласилась. *Налетчиком лютым, неумолимым...* Под стук и звон трамвая он тихонько пробормотал семь готовых строф. А всего надо девять. *Неплохо* идет! Поэт. Да, Гордон Комсток, автор «Мышей». И даже в «Прелести Лондона» вновь поверилось.

Мысли кружились вокруг воскресной поездки. Встретиться в девять у Пэддингтонского вокзала. Понадобится шиллингов десять; раздобыть, хоть последнюю рубашку под заклад! Розмари согласилась, и, может, уже в воскресенье получится. Они не договаривались, это как-то само собой обоим было ясно.

Господи, пошли хорошую погоду! Бывают же и в декабре роскошные тихие дни, когда солнышко греет и не мерзнешь, часами можешь проваляться на пышном сухом папоротнике. Зимой, конечно, редко такая благодать, дождь куда вероятней. И выпадет ли им вообще шанс под открытым небом? Но пойти некуда. Множеству лондонских влюбленных вот так же «некуда пойти», лишь улицы и парки, где всегда нервно, всегда зябко. В холодном климате секс бедняку дается трудно. Не все учтено классикой насчет «единства времени и места».

7

Султаны дыма вертикально вздымались к слегка розовеющему небу.

В восемь десять Гордон вскочил в автобус. Воскресные улицы еще спали. Бутылки молока, как лилипуты-караульщики, белели у запертых подъездов. При Гордоне было четырнадцать шиллингов, то есть уже чуть меньше – минус три пенса за автобус. Девять шиллингов от жалованья (чем это обернется на неделе, лучше не думать), пять он взял в долг у Джулии.

Сестру Гордон навестил в четверг. Ее жилище возле «Графского двора», хоть и на третьем этаже, с черного хода, выглядело гораздо благородней конуры Гордона. Единственная комната сестры смотрелась почти гостиной. Джулия предпочла бы голодать, чем жить в явном убожестве. И обстановка, собранная годами, по вещичке, действительно стоила ей немало полуголодных дней. Диван-кровать, совсем как настоящий диван, круглый столик мореного дуба, пара «старинных» стульев, резная скамеечка для ног и возле газовой печурки обитое вошным ситцем кресло (в рассрочку на тринадцать месяцев). И расставленные всюду рамочки с фотографиями родителей, брата и тети Энджелы, а также замысловатый календарь из березовых дощечек (чей-то рождественский подарок) – перл выжигания по дереву и

абсолютно непригодный. Гордона здесь душило смертной тоской. Он обещал заходить, собирался, гнал себя, но фактически появлялся, только чтобы «занять».

Внизу он постучал три раза: три удара для третьего этажа. Джулия открыла и, проведя его к себе, опустилась на колени перед печкой.

– Сейчас снова зажгу, – сказала она. – Выпьешь чашечку чая?

Он про себя отметил это «снова». В комнате стоял зверский холод, печка сегодня явно не зажигалась, сестра всегда экономила газ. Гордон смотрел на сгорбленную перед топкой узкую длинную спину. Как много седины! Целыми прядками, скоро станет настоящей «седой дамой».

– Тебе ведь крепкий? – вздохнула Джулия, нерешительно вытянув над чайницей гусиную шею.

Гордон стоя пил свою чашку, уставясь на календарь из дощечек. Да ладно, не раскисай! Но сердце падало все ниже. Клянчить, опять подло клянчить! Сколько же он всего «назанимал» за эти годы у сестры?

– Слушай, Джулия, мне страшно неудобно просить тебя, но, понимаешь...

– Да, Гордон? – спокойно ответила она, зная продолжение.

– Понимаешь, жутко неловко, но не могла бы ты одолжить мне шиллингов пять?

– Да, Гордон, сейчас посмотрю.

Она выдвинула ящик комода, где под стопкой постельного белья хранился потертый черный кошелечек. Ясно, ясно – урезал долю ее радостей с подарками. Сейчас, в столь важное для нее время перед Рождеством, когда надо после работы допоздна рыскать, носиться из лавки в лавку, закупать всякий обожаемый женщинами хлам: пакетики носовых платков, подставки для писем, заварные чайнички, маникюрные наборы, деревянные календари с изящно выжженными изречениями. Весь год по грошику от каждой грошовой зарплаты ради вот этих «что-нибудь на Рождество» или «что-нибудь на день рождения». Брату, который «любит поэзию», к прошлому Рождеству «Избранные стихотворения» Джона Дринкуотера, томик в зеленом сафьяне, проданный Гордоном за полкроны. Бедная Джулия! Высидев для приличия полчаса, Гордон сбежал с пятью шиллингами. Почему у богатого приятеля занять стыдно, а у нищей сестры берешь? Ну да, родня это родня.

На верхнем ярусе автобуса он занялся подсчетами. В наличии тринадцать и девять. Поезд туда-обратно – пять шиллингов, еще пару на автобус – это семь, затем еще два в пабе – пиво с бутербродами – девять, чай по восемь пенсов, каждому двойной – это двенадцать, сигареты – тринадцать. И девять пенсов в экстренном резерве. Все вроде получается. А как потом до пятницы? Вообще без курува? Плевать!

Розмари пришла вовремя. Она, к ее чести, никогда не опаздывала и даже в этот ранний час сияла бодростью и свежестью. И выглядела, по обыкновению, очень мило: в той же забавной плоской шляпке, что так понравилась Гордону. Пассажиров почти не было. Пустынный и неприбранный вокзал хмурился в полудреме, как с похмелья. Небритый зевающий носильщик подсказал им маршрут до Бернхам-Бичез, и, сев в вагон третьего класса для курящих, они покатали на запад. Тоскливая чащоба предместий сменилась наконец бурными лентами полей с вешками плакатов, регулярно напоминавших про «Чудо-бальзам для печени». Денек стоял необычайно тихий, теплый. Молитва Гордона была услышана: такой погоде иное лето позавидует.

Сквозь утренний туман уже уверенно проглядывало солнце. Сердца наполнились детским глуповатым счастьем – какое приключение, сбежать из Лондона и весь день «на природе»! Розмари несколько месяцев, а Гордон целый год не ступали по траве. Они сидели, тесно прижавшись, не глядя в развернутую на коленях «Санди таймс», упиваясь видом за окном: поля, коровы, домики, порожние грузовики, громады спящих фабричных корпусов. Хотелось длить и длить это блаженство.

В Слау они сошли. Городок еще не проснулся. Дальше, до Фэрнхем-Коммен их довез низенький, смешного шоколадного цвета автобус. Розмари теперь вспомнила, как идти от остановки к буковой роще. По изрезанной колеями сельской дороге, а затем вдоль болота, через дивный пушистый луг с редкими голыми березками. Их встретил сказочный покой: ни листок, ни травинка не шелохнется, деревца призрачно мерцают в неподвижном, еще туманном воздухе. Гордон с Розмари ахали от восторга – тишина, роса, матовый блеск шелковистой березовой коры, мягко пружинящий торф под ногами! Поначалу, впрочем, горожанам было как-то непривычно. Гордон шурился, ощущая себя просидевшим долгий срок в подземелье, землисто бледным и грязноватым; стесняясь своей мятой физиономии, шел сзади. К тому же, с привычкой ходить только по тротуарам, оба вскоре стали задыхаться и первые полчаса почти не разговаривали. Наконец вошли в лес; побрели буквально «куда глаза глядят», лишь бы подальше от города.

Вокруг высились прямые, как свечки, буковые стволы с их странно гладкой, туго натянутой и сморщенной у основания, почти живой шкуркой. Внизу никакой поросли, лишь волны отливающего

серебристо-медной парчой сплошного листового слоя. Ни души. Гордон нагнал Розмари, и, держась за руки, они пошли, шурша сухой листвой, время от времени пересекая аллеи, ведущие к роскошным летним резиденциям, вмещающим толпы веселых гостей, а сейчас безлюдным, наглухо запертым. Бурый узор облетевших живых изгородей во влажной дымке светился пурпуром. Встретилось несколько птиц: перепорхнувших с ветки на ветку соек и непугливых (видимо, полагавших воскресный день совершенно безопасным) фазанов, вперевалку волочивших через тропки свои длинные хвосты. Сонная сельская глухомань, просто не верилось, что до Лондона всего двадцать миль.

Туристы теперь обрели форму, открылось второе дыхание, кровь забурлила. Казалось, можно вот так, без усталости, шагать хоть сутки. Возле очередной дороги роса на кустах живой изгороди вдруг алмазно вспыхнула. Солнце пробило облака, тусклое поле заиграло радугой нежных оттенков, будто ребенку великана дали вволю насладиться новым акварельным набором.

– Ой, Гордон, *какая красота!*

– Красота.

– Ой, смотри, смотри! Сколько там кроликов!

И в самом деле, на другом конце поля паслось целое кроличье стадо. Внезапно под соседним кустом что-то дернулось: лежавший в траве, облитый росой кролик выпрыгнул и умчался, мелькая торчащим белым хвостиком. Розмари, вскрикнув, упала Гордону на грудь. Они радостно, весело, как дети, обнялись. Солнышко грело совсем по-летнему. Под ярким светом возраст Розмари читался вполне отчетливо. Ей скоро тридцать, ему столько же, а на вид и побольше, ну так что? Он снял ее смешную шляпку, в черных волосах блеснули три белые волосинки, тоже красивые и тоже вызывавшие нежность.

– Как это славно, однако, очутиться здесь с тобой. Хорошо, что поехали.

– И ты подумай, милый, – целый день вдвоем! И дождь не пошел! Нам ужасно повезло!

– Да, надо бы принести жертву бессмертным богам.

Счастье переполняло. Восхищало все, что попадалось на глаза: поднятое с земли лазурное перо сойки, отражение ветвей в черном зеркале озерца, древесные наросты, торчащие ушами каких-то лесных чудищ. Довольно долго обсуждался самый точный эпитет для буковых деревьев, столь необыкновенно похожих на живое существо. Бугорки на коре Гордон сравнил с сосками девичьих грудей, а плавные изгибы толстых гладких ветвей с хоботами трубящих слонов. Разгорелся спор. Поддразнивая Розмари, Гордон нашел, что листва буков точь-в-точь пышные гривы томных дев с картин Берн-Джонса, а хищный плющ вьется вокруг стволов цепкими тонкими ручонками малюток скромниц Диккенса. И когда он вознамерился растоптать стайку хрупких сиреневых поганок, возле которых непременно пляшут эльфы в иллюстрациях Рекхэма, Розмари обозвала его бесчувственным крокодилом. Перебираясь через груды листьев и по колену утонув в сухой легкой волне, она воскликнула:

– Ты посмотри, Гордон, на солнце эти листья как золото! Настоящее золото!

– Ага, волшебный клад. Ты мне сейчас все сказки Барри перескажешь. По цвету в точности томатный суп.

– Не хулигань! Послушай, как шелестят. «И словно шелест листопада, ручьев журчание в Валломброзе» [15].

– Лучше, пожалуй, – «хлопья пшеничные в тарелке». Хрустящий аппетитный американский завтрак! Детишки утром требуют хрустяшек!

– У, зверюга!

И они пошли, хором декламируя:

И словно шелест листопада,

Хлопья пшеничные в тарелке

Из пачек, что на всех прилавках.

От смеха оба чуть не падали. Тем временем лес кончился, и везде появились люди, хотя машин, если не выходить на главное шоссе, почти не было. Если слышался колокольный звон, они делали крюк, чтобы не встречаться с богомольцами. Потянулись деревни, в надменном отдалении от которых стояли виллы «под старину», демонстрируя ансамбли гаражей, лавровых кустов и зачехленных газончиков. Гордон, естественно, потешил себя саркастичным обличением всей этой цивилизации маклеров-брокеров, с их надутыми женами, их гольфом, виски, яхтами, абердинскими терьерами по кличке Джекки [16].

Так, в болтовне и перепалках, они отшагали еще мили четыре. На ясном небе горсткой перышек белело несколько почти неподвижных облачков. Ноги начали гудеть, а разговор все чаще сворачивал к еде. Хотя часов у них не было, открытая дверь деревенского паба сообщила, что время за поддень. Сама эта пивнушка под вывеской «Синица в руке» выглядела убого; впрочем, Гордон не возражал бы перекусить именно здесь (наверняка дешево). Розмари, однако, поморщилась и покачала головой. Они ушли, надеясь на другом конце деревни найти нечто получше, представляя уютный зальчик, дубовые лавки, чучело какой-нибудь гигантской щуки на полке под стеклянным колпаком... Другого паба не оказалось. И вновь вокруг только поля, поля, ни домика, ни даже дорожных указателей. Стало тревожно – в два пабы опять закроют, тогда уж им ничего не светит, кроме пачки печенья из сельской лавочки. Голод погнал вперед. Они вскарабкались на холм, мечтая увидеть соседнюю деревню. Никаких деревень, зато внизу по берегам темно-зеленой реки раскинулся довольно обширный городок (реку, родную Темзу, они не узнали).

– Ух, слава Богу! – облегченно вздохнул Гордон. – Там-то полно пабов.

– Давай в первый что попадется?

– Согласен, умираю с голода.

Но городок встретил их странной тишиной. Неужели все в церкви или уже дома, за столом? Нет, пусто везде, совершенно пусто. Попали они в Крикхем-на-Темзе, один из городков, оживающих лишь в сезон купания. Длинная прибрежная полоса заколоченных купален, лодочных сараев, дощатых летних домиков. И ни единого человека. Наконец наткнулись на удившего рыбу толстяка (сизый нос, лохматые усы, возле складного табурета бутылка пива). На воде пара лебедей, круживших, норовивших всякий раз хапнуть новую наживку.

– Вы не подскажете, где бы нам тут поесть? – спросил Гордон.

Толстяк, казалось, ждал вопроса и, не оглянувшись, но с явным удовольствием ответил:

– А *нигде*. Нету, значит, ничего тут.

– Проклятье! Совсем ничего? Полдня идем голодные.

Толстяк засопел, размышляя, не отрывая глаз от удочки.

– Как бы вот в ресторан-отель, с полмили-то отсюда. Как бы вон там, ежели, значит, работают.

– Так этот ресторан *работает*?

– А кто ж их знает? Может, что и да, а может, нет, – флегматично отозвался толстяк.

– Не скажете, который час? – вступила Розмари.

– Час-то? Да уж, видать, четверть второго.

Лебеди выбрались на край берега, явно ожидая подачи. В работающий ресторан верилось слабо; вокруг царило запустение: мусор, хлам, облупившаяся краска, пустые комнаты сквозь мутные пыльные окна, даже на пляжных автоматах потеки ржавчины.

– Зря, дураки драные, не зашли в тот деревенский паб!

– Ох, милый, *так* есть хочется. Может быть, нам вернуться?

– Теперь нет смысла. Пошли, это, наверно, за мостом. Будем надеяться на чудо, вдруг открыто.

Поплелись к видневшемуся вдалеке мосту, ноги уже просто подкашивались. Но чудо свершилось! На другой стороне сразу от моста по отлогой лужайке вилась дорожка, в конце которой стояло внушительное – и, несомненно, открытое! – заведение. Кинувшись к нему, они, однако, смущенно затормозили.

– Как-то чересчур шикарно, – сказала Розмари.

Шик и впрямь буквально бил в глаза. Блистая белизной с обильной позолотой, заведение каждой своей каменной плиткой заявляло насчет безумных цен и скверного обслуживания. На щите у дорожки крупными золотыми буквами значилось:

...

ОТЕЛЬ «РЕЙВЕНСКРОФТ»

ВХОД В РЕСТОРАН СВОБОДНЫЙ

ВСЕ ВИДЫ ПИТАНИЯ

ТАНЦЗАЛ И ТЕННИСНЫЕ КОРТЫ

СЕРВИС ВЫСШЕГО КЛАССА

Перед входом лоснились два припаркованных лимузина. Гордон испугался. Деньги в кармане сделались ничтожной мелочью, а само заведение меньше всего напоминало уютный паб. Розмари дернула за рукав:

- Свинское местечко. Пойдем поищем что-нибудь еще.
- Куда? Нет ничего другого. Поесть мы сможем только здесь.
- Ох, знаю я, какая здесь еда. Дадут ломтик говядины, черствый, как с прошлого Рождества, и заломят бешеные деньги.
- А мы закажем просто пива и хлеб с сыром, это везде стоит примерно одинаково.
- И они нас возненавидят! Начнут глумиться, навязывать свой завтрак. Тогда надо решительно и твердо: только бутерброды.
- Ладно, проявим стойкость. Заходи.

Они вошли. В просторном холле угнетающе дохнуло чужой богатой жизнью; пахло речной свежестью, новой мебельной обивкой, увядшими цветами, винными пробками. Понятно, тот самый сорт отелей вдоль автострады, куда маклеры-брокеры возят по воскресеньям своих шлюх. Сердце у Гордона зануло – стиль ясен: обдерут и оскорбят. Розмари теснее прижалась к нему, она тоже оробела. Увидев табличку «Салон», они толкнулись туда, полагая найти бар, но оказались в просторной нарядной гостиной с бархатными диванами; о коммерции тут напоминали лишь пепельницы с рекламной эмблемой виски «Белая лошадь». Салон практически пуст, только вокруг одного столика отдыхающая, видимо, после трапезы компания из лимузинов: два жирноватых, чрезвычайно спортивно одетых блондина с двумя изящно-худосочными девицами.

Возле них официант, в почтительном поклоне наполняющий бокалы.

Гордон и Розмари остановились на пороге. Сидевшая компания небрежно скользнула взглядом по фигурам усталых потных пешеходов, ощутивших свое убожество. Насчет «пива и хлеба с сыром» нечего было думать; единственное, что могло прозвучать в такой обстановке, это «ленч». Ленч или немедленно прочь. Однако официант, смерив вошедших откровенно наглым взглядом, все же не дал им ускользнуть.

– Сэ-эр? – требовательно протянул он, подхватив поднос.

Ну! Наплевать на этих хамов, говори: «Пиво и бутерброды». Увы, храбрость испарилась. Как бы случайно Гордон опустил руку в карман удостовериться, что монеты на месте (должно было остаться семь шиллингов и десять пенсов). И разумеется, официант заметил этот жест; лакейские глаза, казалось, умели даже сквозь карман пересчитать твою наличность.

Стараясь придать голосу уверенность, Гордон сказал:

- Нам бы хотелось ленч.
- Лэ-энч, сэ-эр? Дэ-э, сэ-эр. Прэйшу вас.

Черноволосый, с очень гладкой бледной кожей, смотрелся молодой пригожий официант российским князем, хотя прекрасно сидевший на нем костюм выглядел так, как будто обладатель не снимал его даже на ночь. Скорее всего англичанин, полагавший иностранный акцент неременным атрибутом своей профессии. Гордон и Розмари покорно пошли за ним в обеденный зал на застекленной террасе. Промозглый куб из зеленоватого стекла создавал полное впечатление аквариума с холодной затхлой водой. Эффект значительно усиливался видом и запахом речной влаги. На каждом столике букетик искусственных цветов, а у одной из стен, словно образчик безрадостной подводной флоры, всякая глянцева зелень: пальмы, аспидистры, фикусы. В жару такое помещение могло бы выглядеть достаточно отраднo, но сейчас, когда зимнее солнце к тому же скрыли облака, тут просто выть хотелось от мрачной сиротливости. Уселись; подавленная не меньше Гордона, Розмари отважилась скорчить гримасу в спину отошедшего официанта.

- Я за свой завтрак сама заплачу, – шепнула она через стол.
- Нет, ни за что.
- Кошмарная стекляшка! И накормят наверняка дрянью, не надо было нам...
- Ш-ш!

Официант вернулся и, вручив мятый листок меню, зловеще воздвигся рядом. Гордону стало трудно дышать: если у них стандартный завтрак по три шиллинга и даже по полкроны, это конец! Стиснув зубы, он посмотрел в колонку цен – уф, слава Богу, свободный выбор. Самое дешевое – холодное мясо с салатом, по полтора боба. Он сказал, вернее, пробормотал:

– Мясо холодное, пожалуйста.

Тонкие брови официанта вскинулись, изображая удивление.

– Мьяссо *и все*, сэ-эр?

– Да, пока хватит.

– И ничего *другого*, сэ-эр?

– Ну, хлеб, конечно. Хлеб, масло.

– А кэкой-нибудь су-уп, сэ-эр?

– Супа не надо.

– А кэкую-нибудь рыбу, сэ-эр? Одно *мяссо*!

– Ты хочешь рыбу, Розмари? Не стоит? Нет, не надо рыбы.

– А из экзусок, сэ-эр? Кэк, одно *мяссо*?

Гордон силился сохранять спокойствие. Никто и никогда не вызывал у него такой ненависти.

– Мы позовем вас, если понадобится что-то еще.

– А что будете пить, сэ-эр?

Сказать «пиво» смелости не хватило. Требовалось спасти престиж.

– Дайте мне карту вин, – коротко бросил Гордон.

Официант доставил еще один мятый листок. Цены безумные, однако в самом низу значился некий столовый кларет без названия за два и девять. Быстро подсчитав в уме (едва-едва!), Гордон чиркнул ногтем по строчке с кларетом:

– Бутылку вот этого, пожалуйста.

Брови официанта вновь взлетели. Он позволил себе съязвить:

– О, *целую* бутылку, сэ-эр? Не желаете ли полбутылки?

– Бутылку, – холодно повторил Гордон.

Чуть качнув головой и выразив этим бездну презрения, официант ушел. Невыносимо! Гордон поймал взгляд Розмари. Ну вот, удалось все-таки поставить наглеца на место. Минуту спустя появился официант, неся безымянный кларет за горлышко в опущенной руке, как нечто не совсем пристойное. Мечтая отомстить, Гордон потрогал бутылку и нахмурился:

– Красные вина так не подают!

– Сэр? – на миг, лишь на миг, опешил официант.

– Холодное как лед. Возьмите и согрейте.

– Да, сэ-эр.

Триумф не удался. Официант без малейшего смущения – греть *такое* вино? – унес бутылку, демонстрируя всем видом, как позорно заказывать дешевку да еще шум поднимать.

Безвкусовые ломтики мяса мало походили на еду, в булочках, хоть и черствых, зубы вязли. Казалось, все пропитано речной водой. Уже не удивило, что кларет тоже отдавал болотной жижей. Но свое великое дело алкоголь сотворил. Бокал, еще полбокала, и на душе стало повеселей. Торча в дверях, дабы кривой ухмылкой отравлять им существование, официант сначала преуспел. Но Гордон развернулся к нему спиной и в самом деле почти забыл о нем. Винные градусы вернули мужество. Разговор пошел легче, голоса зазвучали громче.

– Смотри-ка, – кивнул Гордон за окно, – те лебеди-попрошайки от нас не отстали.

Действительно, внизу по зеленой воде скользила туда-сюда парочка белых лебедей. Вновь выглянуло солнце, и угрюмый аквариум мягко, красиво засветился. Радость вновь вернулась. И опять они весело болтали, словно не было поблизости никаких официантов. Гордон снова налил вина, глаза их встретились. «Да, я согласна, – ласково смеялись ее глаза, – ну что, доволен?» На мгновение ее колени поймали, сжали его колено. Гордон почувствовал, как внутри у него что-то дрогнуло и растеклось волной сладостной нежности. Она! Его желанная подружка. И сегодня, когда они найдут укромный уголок, ее тело примет его, будет ему принадлежать. Все утро думая об этом, он уверенно ощутил – не пройдет часа, и она, обнаженная, окажется в его объятиях. Гревшимся в теплых солнечных лучах, неотрывно глядевшим друг на друга, им казалось, что все уже произошло. Возникла необыкновенная, сокровенная близость. Только

сидеть бы так, глаза в глаза. И они просидели так около получаса, обсуждая им одним интересную, важную ерунду. Гордон даже забыл про гнусный, дочиста разоривший его ленч. Но вот на солнце набежало облако, зал потускнел, и они встрепенулись – пора уходить.

– Счет, – вполоборота бросил Гордон.

Официант не замедлил метнуть последнюю стрелу с ядом:

– Уже, сэ-эр? Кэк, даже бэз кофе, сэ-эр?

– Без кофе. Счет.

Ретировавшись, лакей выплыл со сложенным на подносе узким белым листочком. Гордон развернул – шесть шиллингов и три пенса! Практически весь его капитал, в кармане семь и десять! Примерно он, конечно, представлял, но точная цифра сразила. Он встал, выгреб свою наличность. Бледнолицый молодой официант искоса цепко глянул на жалкую горстку монет. Тихонько сжав локоть Гордона, Розмари дала понять, что хочет оплатить свою долю. Гордон не отозвался; отсчитал шесть шиллингов три пенса и, уходя, кинул лакею на поднос еще шиллинг. Брезгливо взяв монетку, тот повертел ее и, словно нехотя, кинул в жилетный кармашек.

По коридору Гордон шагал растерянный, ошеломленный. Разом, бездарно все спустить за пару черствых ломтиков мяса и бутылку скверного пойла! Жуть какая-то! Черт его дернул сунуться в этот хамский отель! Теперь и чай уже не выпить, и сигарет осталось только шесть, а ведь еще обратная дорога, и вообще мало ли что. С семью пенсами! Дверь позади захлопнулась, как будто их выставили вон. Настроение резко упало. Свежий воздух быстро выстуживал тепло душевной близости. Розмари молча, напряженно шла впереди, уже не веселясь, волнуясь из-за того, на что вдруг расхрабрилась. Гордон смотрел, как проворно шагают ее стройные ножки. Так долго он хотел ее, но когда страстное желание вот-вот должно было исполниться, это не слишком вдохновляло. То есть, конечно, он желал, он *продолжал* желать, но только поскорей бы все уже закончилось. Восторг свободного любовного порыва угас. Поразительно, как сшиб его этот поганый счет, и вместо утренней блаженной беспечности опять терзания из-за денег. Придется сознаться, что он не может даже билет в автобусе купить, придется занять у нее, снова придется сгорать от стыда. Остаток куража держался лишь остатком винных градусов.

Хотя шли без особой спешки, вскоре они очутились на высоком холме. Каждый отчаянно искал тему для разговора и ничего не мог придумать. Догнав Розмари, взяв ее за руку, Гордон тесно переплел их пальцы. Стало чуть легче. В груди у него, правда, все так же стоял ледяной ком. У нее, по-видимому, тоже.

– Что-то не видно никого, – проговорила Розмари.

– Воскресный отдых. Сон под фикусом после тушеной свиной ноги с подливкой.

Вновь молчание. Прошли еще полсотни ярдов. Откашлявшись, Гордон выдавил:

– Теплынь какая. Давай выберем местечко, посидим.

– Хорошо.

Свернули в рощицу. Частокол голых стволов, ни кустика, но вдали клубок зарослей то ли терна, то ли терновника. Обняв Розмари, Гордон молча повел ее туда. На пути встретилась ограда с проломом, замотанным поперек железной проволокой; Гордон приподнял верхнюю ржавую нить, и Розмари проскользнула – такая ловкая, сильная. Он торопливо устремился следом, но две последние монетки, звякнув на дне кармана, несколько охладили его пыл.

В зарослях обнаружился просто готовый альков: с трех сторон густое плетение ветвей терновника, с четвертой – крутой откос, под которым чернели вспаханные безлюдные поля. Видневшийся внизу домик отсюда казался кукольным. И ни дымка из трубы, ни движения во дворе, ни единого живого существа на горизонте. Уединение идеальное. Землю здесь покрывал прекрасный пушистый мох.

– Надо бы плащ постелить, – сказал он, опускаясь на колени.

– Не стоит, совсем сухо.

Гордон потянул ее к себе, прижал, снял с нее милую смешную шляпку, стал целовать ее лицо. Розмари, лежа под ним, не сопротивлялась; не дернулась, когда он начал ласкать ее грудь. Но испуг бился в ней, не утихая (раз уж она дала согласие, то сдержит обещание, потерпит, только очень страшно!). А в нем страсть разгоралась так вяло, что это даже встревожило. Подлые деньги не шли из головы. Какие тут занятия любовью, если все мысли про пустой карман? И все же он хотел ее, он без нее не мог. Вся жизнь изменится, когда их близость станет реальной, настоящей. Довольно долго он просто лежал, положив голову ей на плечо, рассматривая сбоку ее шею и волосы, не предпринимая решительных попыток.

Небо посветлело, на землю вновь хлынул поток мягких, уже косых лучей. Стоило набежать облакам, и заметно холодало, но сейчас опять сделалось почти по-летнему тепло.

– Ты только взгляни, Гордон!

Оба приподнялись. Низкое солнце золотило маленькую долину. Блеклая травяная зелень стала изумрудной, кирпичный домик засветился ярким кармином. Лишь тишина без птичьих трелей напоминала о зиме. Гордон обнял Розмари, она ласково прильнула, и они замерли, сидя щека к щеке, любуясь видом с холма. Он развернул ее к себе, поцеловал:

– Ты меня любишь, правда?

– Обожаю, дурачок.

– И будешь милой?

– Милой?

– И позволишь мне?

– Наверно.

– Все?

– Ну хорошо. Все.

Гордон осторожно вновь положил ее. Тревоги отлетели. Нежность солнца наполняла сладкой истомой. «Разденься, дорогая», – шепнул он. Она быстро, без всякого кокетства разделась. Было тепло и уютно. Из ее одежды они устроили постель. Она легла, прикрыв глаза, закинув руки за голову, слегка улыбаясь в какой-то мудрой умиротворенности. Голое тело Розмари сияло удивительной красотой. Без одежды она казалась много моложе, а ее спокойное, словно спящее лицо – почти детским. Гордон прилег рядом. Опять звякнули последние пенни и шестипенсовик. Только не думать о них! Жить в настоящем! Сейчас! А «будущее» к черту! Он подсунул ладони ей под поясницу, спросил:

– Можно?

– Да.

– Не боишься?

– Не боюсь.

– Я постараюсь очень ласково.

– Это не важно.

И секунду спустя крик:

– Нет, Гордон! Нет, *нельзя*, *нельзя*!

– А?

Во взгляде ее страх, даже неприязнь. Своими маленькими сильными руками она отпихивала, выпихнула его. Ощущение не из приятных, будто ледяной водой окатили. Гордон растерянно, поспешно стал застегиваться.

– Да что такое? Что с тобой?

– О, Гордон, мне это так... ты...

Спрятав лицо, Розмари отвернулась, сжалась на боку.

– Да что такое? – повторил он.

– Ты и *не подумал*? Нисколько не подумал, не позаботился...

– О чем?

– Ты знаешь!

Ясно. Это правда, он не подумал. Хотя, конечно – о, конечно! – обязан был. Сердце заныло. Гордон поднялся, угрюмо глядя в сторону. Все, продолжения не будет. Глупая затея – зимой, в кустах, среди бела дня. Дико и безобразно.

– Не ожидал от *тебя*, – проронил он.

– Разве я виновата? Ты ведь должен делать это с... ну, с этим самым.

– Полагаешь, должен?

– Как иначе? Что же мне, забеременеть?

– Уж как получится.

– Ох, Гордон!

Не шелохнувшись, не прикрывшись, она смотрела на него пристально и печально. А в нем обида взвилась яростью – опять! Опять деньги! И в самый интимный момент, в самую сердцевину твоих чувств вломятся со своими гнусными деловитыми предосторожностями. Деньги, деньги! И у брачного ложа неотступно стоит, грозит пальцем Бизнес-бог! Не скроешься. Наохлившись, Гордон отошел.

– Вот так-то, дорогая! Вот так, мы с тобой одни в этой глуши, а деньги нас продолжают гнуть и оскорблять.

– Не вижу чем.

– Тем, что именно из-за денег твоя паника, твой страх забеременеть. Кричишь «нельзя, нельзя!», а почему? А потому что потеряешь службу, у меня ни гроша, и, значит, рухнем в нищету. Отличный лозунг «контролировать рождаемость»! Еще один блестящий способ придавить человека. И ты готова послушно исполнить высшее предписание.

– Но какой выход, Гордон? Что мне делать?

Гряда облаков заволокла солнце. Похолодало. Со стороны сцена увиделась бы довольно комичной: лежащая на земле голая женщина и полностью одетый сердитый кавалер, руки в карманах.

– Что же мне делать? – повторила Розмари.

– Очевидно, начать одеваться.

Лицо ее свело такой болью, что он, не выдержав, отвернулся. Слышно было, как она торопливо натягивала платье и, шнуруя ботинки, пару раз судорожно всхлипнула. Хотелось кинуться на колени, обнять и молить о прощении, но его будто заклинило. Стоял столбом, едва сумел разлепить губы:

– Оделась?

– Да.

Они снова пролезли под проволокой, молча пошли вниз. Облака набегали все гуще. Холод усиливался. Еще час, начнет смеркаться. Проходя обратной дорогой мимо злосчастного ресторана, Розмари тихо спросила:

– Куда теперь?

– На остановку, куда ж еще. За мостом есть, наверно, указатель.

И снова миля за милей без единого слова. Огорченная Розмари неоднократно пыталась приблизиться, чтоб помириться. Гордон упрямо сторонился. Ей представлялось, что она смертельно обидела его своим отказом, ее грызло раскаяние. Но вовсе не об этом были мрачные думы Гордона. Проезд в автобусе, чай на вокзале, сигареты, а в Лондоне опять автобус и хотя бы еще по чашке чая. С семьей пенсами! Никуда не денешься, придется просить у нее займы. Позорище! Чего-то строить из себя, фырчать, гордо читать нотации, а в результате у нее же кланяться монеты! Вот они, деньги драные, все могут, везде достанут!

В половине пятого почти стемнело. Дорожную мглу освещали лишь отблески горящих в домах окон и фары редких автомобилей. От зябкой сырости спасала только быстрая ходьба. Молчать и дальше стало невозможно, потихоньку все же разговорились. В какой-то момент Розмари, тряхнув его руку, заставила остановиться:

– Гордон, *за что* ты меня так?

– Как?

– Всю дорогу ни словечка. Сердишься?

– На тебя? Ты ни при чем.

Пытаясь в сумраке разглядеть выражение его лица, она ждала. Он обнял, поцеловал ее, тут же прильнувшую всем телом.

– Гордон, ты любишь меня, да?

– Ну разумеется.

– Как-то все плохо вышло, прости, я вдруг страшно испугалась.

– Ладно, в другой раз наверстаем.

Он чувствовал тепло ее тесно прижатой мягкой груди, слышал, как бьется, взволнованно стучит ее сердце.

– Пускай, мне все равно, – пробормотала она, уткнувшись ему в пиджак.

– Что «все равно»?

– Пускай будет как будет. Делай, как тебе нравится.

Ее покорность пробудила некое слабое желание, тут же, впрочем, утихшее. Это в ней говорит не страсть, а доброта, жертвенное согласие рискнуть, только бы не разочаровывать его.

– Сейчас? – спросил он.

– Если хочешь.

Гордон заколебался. Хотелось, конечно, увериться, что она полностью принадлежит ему. Но воздух уже ледяной, и сыро в траве под живой изгородью. Не то время, не то место. Да еще эти чертовы семь пенсов занозой в голове.

– Не стоит, – сказал он наконец.

– Не стоит? Гордон! А я думала, тебе...

– Да. Только не сейчас.

– Все еще переживаешь?

– Есть кое-что.

– Что?

Он дернул головой, сглотнул (настал миг объяснить) и пробурчал пристыженно:

– Ну, одна гадость покоя не дает. Ты не могла бы мне немного одолжить? Если б не чертов ресторан! Осталось, понимаешь, всего семь пенсов.

Изумленно ахнув, Розмари сбросила его руки.

– Семь пенсов? Ты что? Из-за этой *ерунды*?

– Не ерунда! Теперь тебе придется платить и за автобус, и за чай, и за все остальное. А это я же тебя пригласил. Проклятье!

– Он *пригласил* ! И *потому* эта жуткая мрачность?

– Угу.

– Господи, сущее дитя! Нашел причину для волнений. Меня очень интересуют твои деньги? Разве я не прошу всегда позволить мне самой за себя платить?

– Вот именно. Я не могу так, мне противно.

– Глупый, вот глупый! Ну деньги кончились, и что? Это позор?

– Страшнейший позор.

– Но чем же пустой кошелек мешает заниматься любовью? Не понимаю, что тут может значить сумма наличных.

– Абсолютно все.

Они продолжили путь. На ходу Гордон упорно старался разъяснить ей:

– Ты пойми – не имея денег, *буквально* чувствуешь себя неполноценным, не мужчиной, вообще каким-то недочеловеком.

– Идиотизм.

– Как бы я ни мечтал заняться с тобой любовью – невозможно, когда у меня только семь пенсов; да еще зная, что и ты об этом знаешь. Физически невозможно.

– Но почему?

– Прочтешь у Ламприера, – туманно ответил Гордон.

Тема была закрыта. Розмари, может, и не понимала, зато прощала ему все. И хотя он в последние часы вел себя отвратительно, виновной почему-то ощущала себя она. И когда добрались наконец к остановке на шоссе, она успела, завидев автобус, сунуть ему в ладонь полкроны, чтобы джентльмен при людях платил за даму.

Гордон предпочел бы дойти до станции пешком, а там сразу сесть в поезд, но Розмари упростила выпить чая. Пришлось тащиться в унылое вокзальное кафе, где им подали чай с заветренными

бутербродами и парой окаменевших кексов, взяв за это два шиллинга. После долгих сердитых пререканий шепотом Гордон, который ни к чему не притронулся, настоял внести свои семь пенсов.

Поезд был сплошь забит туристами в спортивных шортах. Гордон и Розмари сидели молча. Прюдев руку ему под локоть, она гладила его пальцы, а он хмуро глядел в окно. Народ посматривал на явно поссорившуюся парочку. Пристально созерцая мелькавшие фонари, Гордон подводил итог. День, столько обещавший, завершился плачевно и постыдно; опять к себе на Виллоубед-роуд, впереди целая неделя совершенно без гроша, без просвета. Если не случится чуда, совсем без курева. Какого дурака сваял! Розмари продолжала гладить его неподвижную руку. Этот угрюмый бледный профиль, этот вытертый пиджак, эти нестриженные волосы – ее сердце переполняли жалость и нежность. Как тяжело ему живется!

– Ну что, сейчас в метро меня погонишь? – сказала она, выйдя из вагона.

– Да уж, езжай, пожалуйста. Мне не на что тебя отвезти.

– Я-то доберусь, а ты?

– Дойду. Здесь, в общем, недалеко.

– И каково мне будет представлять, как ты бредешь пешком, такой усталый? Ну будь умником, возьми мелочь на автобус. *Прошу!*

– Хватит уже, пожалуй, меня содержать.

– Ох, какое упрямое животное!

Они остановились у входа в метро. Гордон взял ее за руку:

– Что ж, пора прощаться.

– Пока, милый. Спасибо тебе, что съездили за город. Утро было просто волшебное.

Утро! Да, когда они шли вдвоем по лесу, когда у него в кармане еще было полно. Но вот потом, потом! Болван драный! Он стиснул ее пальчики.

– Обидел я тебя сегодня, дорогая?

– Нет, глупенький, конечно, нет.

– Я не хотел, это все деньги чертовы.

– Бог с ними, давай лучше съездим еще куда-нибудь. Например, в Брайтон, а?

– Может быть. Когда денег соберу. Ты мне напишешь?

– Скоро-скоро.

– Когда? Я держусь только твоими письмами. Скажи когда?

– Завтра вечером напишу, утром отправлю, вечером во вторник получишь.

– Ну, спокойной ночи, любимая?

– Спокойной ночи, милый!

Оставив ее возле билетной кассы, Гордон поплелся прочь. Через минуту кто-то вдруг дернул его за рукав, он злобно обернулся – Розмари. Сунула ему в карман купленную в табачном киоске пачку «Золотого дымка» и, не дав возразить, умчалась.

Тянулись кварталы Марлибона и Риджент-парка. Темные улицы затихли в особой усталости после воскресного дня, утомлявшего, видно, сильнее трудовых будней. К ночи поднялся ветер. *Налетчиком лютым, неумолимым...* Горели стертые в долгом походе ноги, мучил голод. Утром спешил и не позавтракал, ленч в том шикарном ресторане был чем угодно, только не едой. Мамаше Визбич он сказал, что уезжает на весь день, так что ужина тоже не предвиделось.

На Хэмстед-роуд пришлось постоять, пережидая поток автомобилей. Даже тут, несмотря на гроздь фонарей и блеск сверкавших ювелирных витрин, веяло мрачной безнадежностью. Зверский ветер пробирал до костей. *Налетчиком лютым, неумолимым // Тополя нагие гнет, хлещет ветер...* Стихотворение было практически закончено, не хватало лишь двух последних строк. Опять вспомнилось счастливое утро, приволье, роса, тишина и покой на душе. Покой! Да, потому что денежки еще бренчали в кармане. Семь шиллингов девять пенсов, позволивших сбегать от Бизнес-бога в языческие рощи Астарты. Но долго там не попляшешь. Вмиг утекут деньжата, и давай обратно – смирай плоть свою, скули, пресмыкайся.

В очередной волне машин взгляд его выхватил длинный, роскошный, отливающий серебром лимузин – хорошенькая штучка, на тысячу гиней тянет, не меньше. За рулем гордым гранитным изваянием затянутый в форму шофер; в салоне, смеясь, элегантно покуривая, две парочки юнцов с девицами. Четыре

гладенькие кроличьи мордашки, розовые, будто подсвеченные изнутри мягким чудесным сиянием богатства.

Гордон наконец перешел улицу. Не поесть уже сегодня. Хорошо, керосин в лампе остался – хоть чай свой секретный глотнуть. Увиделась дальнейшая судьба: навеки холодная койка в спальняй пещере и кучи без толку измарианных листов. Полный тупик. Никогда не закончит он «Прелести Лондона», не женится на Розмари, не выплывет. Будет, как вся родня, сползать, катиться вниз, только быстрее и еще ниже, куда-то на самое темное, вязкое дно.

Под ногами каменной дрожью отозвался пробежавший поезд подземки. Возникло видение лондонской, да не только лондонской – всей западной жизни: миллионы рабов, пыхтящих, ползающих подле трона Бизнес-бога. Пашни, верфи, шахтерский пот в узких сырых забоях. Толпы клерков, несущихся к восьми пятнадцати, трепещущих перед хозяином, даже в супружеских постелях покорно повинующихся. Но кому? Им – жрецам денег, толстомордым владыкам мира. Элита! Стада молодых розовощеких кроликов в роскошных лимузинах, обожающих гольф маклеров-брокеров, солидных адвокатов, изящных мусиков, банкиров, газетных баронов, писателей с невнятной половой принадлежностью, чемпионов американского бокса, дам-авиаторов, епископов, кинозвезд, официальных поэтов и чикагских бандитов.

Неожиданно нашлась рифма для последней строфы. И он зашагал, шевеля губами, читая свое новое стихотворение:

Налетчиком лютым, неумолимым
Тополя нагие гнет, хлещет ветер,
Надломились бурые струи дыма
И поникли, как под ударом плети.
Стылый гул трамвайный, унылый цокот,
Гордо реющий клочек рекламной афиши.
Эти толпы клерков, их дрожь и шепот.
Эти стены Ист-Энда, скучные крыши.
Всякий шепчет себе: «Зима подходит.
Боже, только не потерять работу!»
Незаметно в тебя проникает холод,
С ледяным копьем идет на охоту.
О сезонных билетах, квартирной плате,
О страховке думай, угле, прислуге,
А еще – пылесос, близнецам кровати,
Счет за дочкину школу, пальто супруге.
Ты бродил в чудесных рощах Астарты,
Где сияющий день, беззаботный, длинный.
Но холодный ветер подул, устал ты,
И к великому боссу опять с повинной.
Все мы Бога Денег блудные дети,
От него ожидаем тепла и крова.
Согревая нас, он смирляет ветер.
Подает, а затем отнимает снова.
Он следит, не смыкает тяжелые вежды,
Наши тайны видит, надежды, мысли.
Подбирает слова нам, кроит одежду,
И наш путь земной он легко расчислит.
Он остудит наш гнев, мечты стреножит,
Он швырнет нам жизнь, как монетку бедным.

Наша дань ему – этот страх до дрожи,
К унижениям привычка, к радостям бледным.
Он на цепь посадит храбрость солдата,
И поэта мысль спеленает туго,
И возникнет невидимая преграда
Меж влюбленным и нежной его подругой [17] .

8

В час дня, едва раздался мерный звон, Гордон выскочил из магазина и чуть ли не бегом кинулся к отделению Вестминстерского банка.

Рука непроизвольно придерживала пиджак справа на груди. Там, во внутреннем кармане, лежало нечто совершенно фантастическое – плотный голубой конверт с американской маркой, а в конверте чек на пятьдесят долларов, адресованный «Гордону Комстоку»!

От конверта, казалось, шел жар. Все утро Гордон кожей ощущал прижатый к груди жесткий горячий прямоугольник и каждые десять минут доставал, чтобы еще раз изучить вложенный чек. Коварнейшая штука эти чеки; того гляди, какая-нибудь жуткая ошибка с подписью или датой. Вообще, может потеряться, даже исчезнуть, как волшебный клад.

Чек пришел из «Калифорнийской панорамы», куда он с полгода назад почти случайно послал стихотворение. И вдруг утром письмо оттуда, и какое! Стихи его «произвели сильное впечатление», их «постараются» дать в самом ближайшем номере, надеются, что он «сочтет возможным» прислать еще что-то (сочтет возможным? «хо-хо, парень!», как подмигнул бы Флакسمан). Просто не верилось, что в гиблом 1934 году нашлись безумцы, готовые платить за стих полсотни долларов. Однако вот он, чек, и выглядит вроде нормально.

Нет, пока банк не выдаст деньги, верить нельзя. Но в голове уже неслись прекрасные картины: улыбки девушек, затянутые паутиной бутылки вина, кружки пива, новый костюм, пальто из ломбарда, уик-энд с Розмари в Брайтоне, новенький пятифунтовый банкнот для Джулии. Прежде всего, конечно, ей. О ней, бедняге, сразу же вспомнилось при виде чека. Половину старушке Джулии! Хоть половину, ведь за эти годы он у нее назанимал раз в десять больше. Мысль об этом то и дело мелькала, проскальзывала облачком среди сиявших грез. Сколько всего можно себе позволить на десятерик! То есть на пятерик – пятерку непременно сестре. Славная добрая сестрица! Половину, по крайней мере половину, ей.

Банк принял чек без возражений. Хотя своего счета у Гордона не было, в банке отлично знали Маккечни, и Гордону уже случалось получать здесь кое-какие гонорары. После минутной консультации с начальством кассир вернулся:

- Какими купюрами, мистер Комсток?
- Пять фунтов и остальные по фунту, пожалуйста.

Из-под медной решетки, приятно шелестя, выдвинулось шесть хрустящих бумажек. Кроме того, кассир выложил горку шиллингов, крон и полукрон – милый сюрприз для Гордона, плохо знавшего курс и ждавшего за пятьдесят долларов ровно десять фунтов. Монеты он вельможно, не считая, бросил в карман. Но пятифунтовый банкнот был аккуратно спрятан в американский голубой конверт – отправить на ближайшей почте Джулии.

К себе Гордон обедать не пошел. Давиться хрящами среди фикусов, когда в кармане десять фунтов? (Ах да, пять! Что ж, и это целый капитал!) Зайти на почту тоже пока как-то забыл, весь во власти удивительных ощущений. С деньгами впрямь чувствуешь себя другим человеком; не богачом, конечно, но уверенным и бодрым. Исчез убогий горемыка, тайком варганивший чай на керосиновой лампе – явился Гордон Комсток, поэт, известный по обе стороны Атлантики. Автор книг «Мыши» (1932) и «Прелести Лондона» (1934). На поэму еще месяца три, ну четыре. Формат в шестнадцатую долю, белая суперобложка. Допишет! Фортуна улыбнулась, все теперь по плечу.

Перекусить он решил в «Принце Уэльском». Порция заливного, пинта светлого и пачка «Золотого дымка» – на пару шиллингов шиканул. И все равно в кармане еще больше десяти (пяти!) фунтов. Согретый пивом, Гордон сидел, размышлял о том, что можно сделать на пять фунтов. Одеться поприличней, или провести воскресенье на взморье, или денек в Париже, или устроить несколько потрясающих пирушек, или хороших ужинов... Вдруг озарило – сегодня ужин вдвоем: он, Розмари и Равелстон. Надо ж отпраздновать удачу, не каждый день сыплется золотой дождь. Вдвоем за столиком, уставленным вином и всякой снедью, и цены не волнуют – красота! Мелькнувшую пугливую мыслишку он решительно подавил.

Было бы, разумеется, ужасно истратить *все* деньги, но пару фунтов на такой праздник не жалко. Через минуту он уже звонил из паба:

– Алло, алло, Равелстон? Это Комсток. Слушайте, не хотите вечерком вместе поужинать? Что?

Голос с другого конца провода звучал чуть слышно. А-а, Равелстон говорит, что сам хотел бы пригласить. Так не пойдет. «Нет, к черту, это я, я приглашаю!» – настаивал Гордон. И настоял, услышав издали тихое «хорошо, спасибо, с огромным удовольствием». Верно определив сюжет звонка (случайный гонорар, который надо срочно промотать), застенчивый Равелстон, как всегда, побоялся обидеть нищего поэта. Теперь решалось, куда пойти. Равелстон заговорил о милых ресторанчиках в Сохо, но только обронил, как там отлично кормят за полкроны, Гордон с негодованием отверг скотские «ресторанчики». Вот еще! Они должны пойти в приличное место. Куда обычно ходит Равелстон? В «Модильяни»? Равелстон пробормотал, что там вообще-то слишком (унизить бедняка, сказав ему «дорого», было невозможно)... слишком помпезно. Да? Тогда точно в «Модильяни»! Договорились на полдевятого у входа. В конце концов, пусть даже три фунта – еще останется купить новые башмаки, жилет и брюки.

Затем он позвонил на работу Розмари. В «Новом Альбионе» не любили звать к телефону служащих, но разок можно. После злополучного воскресенья Гордон уже почти неделю ее не видел, лишь получил одно письмо. Услышав его голос, она очень обрадовалась: «Ужин? Сегодня? Замечательно!» Итак, за десять минут все улажено. Давно хотелось познакомить Равелстона с Розмари, вот только повод никак не находился. Как же легко лишняя горсть монет решает подобные проблемы!

Такси катило по вечерним улицам. Чем топать почти час до центра, почему не проехаться? Гулять так гулять! И почему непременно уложиться в два фунта? Захочется – истратит три, даже четыре. Хотя несколько часов не жаться, не мелочиться, вздохнуть свободно. Подумаешь, деньги! Кстати, пятерик-то Джулия не отправил. Ладно, завтра с утра первым делом. Старушка Джулия! Надо ее порадовать.

Однако же, как заднице удобно на этом пружинящем сиденье! Успев хватить пару стаканчиков, Гордон был чуточку под хмельком. Таксист – философского склада крепыш с обветренным лицом и зорким глазом – попался понимающий. Они сразу, еще в том баре, понравились друг другу. А когда подъезжали к центру, таксист притормозил возле паба на углу. В точности угадал желание Гордона, явно сочувствуя и разделяя. Если, конечно, клиент пожелает оплатить.

– Читаете мои мысли! – сказал Гордон, вылезая.

– Да, сэр.

– Схожу, приму стаканчик.

– Отчего ж не принять, сэр.

– А сами не хотите, а?

– Где хотение, там и умение, – изрек таксист.

– Зайдем! – позвал Гордон.

Устроились рядом у стойки, таксист достал сигареты, закурили. Гордон почувствовал себя в ударе, захотелось рассказать этому чудному человеку всю свою жизнь. Подскочил бармен в белом фартуке:

– Сэр?

– Джин, – сказал Гордон.

– Два, – уточнил таксист.

В приливе дружеской симпатии они чокнулись.

– Ну, за удачу! – сказал Гордон.

– У вас сегодня день рождения, сэр?

– Можно сказать, день возрождения.

– Я не особенно ученый, сэр.

– Это я образно.

– Красивый язык английский, – кивнул таксист.

– Язык Шекспира, – кивнул Гордон.

– Вы, сэр, случаем, не писатель?

– А что, видок такой занюханный?

- Никак нет, сэр. Вид у вас умственный.
- Что ж, опять угадали – я поэт.
- Поэт? Как говорится, творите мир, так?
- И чертовски славный мир! – сказал Гордон.

Настроение стало лирическим. Они вновь выпили и перед тем, как вернуться к машине, глотнули еще по стаканчику. Кровь заструилась изумительной эфирной смесью. Откинувшись на мягкую спинку, Гордон смотрел в окно. Лента светящейся рекламы совсем не резала глаз ядовитой радугой, огни неона сегодня сияли даже ласково. Как плавно, слегка покачивая, мчит такси – будто в гондоле. Деньги! Деньги смазали колеса. И впереди хорошая еда, вино, душевная беседа, а главное, никакой дрожи из-за цен, никаких охов-вздохов «мы не можем себе позволить то, позволить это». А он может! Розмари и Равелстон наверняка будут удерживать. Не выйдет! Захочется, так спустит все до пенни, все десять фунтов! То есть пять. Где-то у края сознания призраком возник унылый силуэт Джулии и тут же растаял.

Подкатив к «Модильяни», он уже совершенно протрезвел. Застывший у подъезда гигант швейцар важно ступил открыть дверцу, угрюмо покосившись на костюм Гордона. Не то чтобы сюда принято было ходить в смокингах, но этот приют богемы предполагал небрежность другого класса. Гордону, однако, косые взгляды сейчас были нипочем. Сердечно распрощавшись с таксистом, он прибавил ему полкроны (отчего взгляд швейцара несколько потеплел). Из подъезда показалась высокая худошавая фигура Равелстона, завсегдатая в аристократично потертом твиде. На лице плохо скрытое беспокойство.

- А, вот и вы, Гордон!
- Привет, Равелстон! Где Розмари?
- Возможно, внутри. Я ведь ее не знаю. Слушайте, Гордон, я хотел бы все-таки сначала...
- О, смотрите, идет!

Приветливо улыбаясь, она скользила сквозь толпу, как легкий маневренный катер среди тяжелых неуклюжих барж. Одета, конечно, мило, шляпка надвинута под особенно провокационным углом. Сердце гордо забилося – вот она, его девушка! Всем видом давая понять, что их воскресная размолвка навек забыта, Розмари держалась весело и легко. Может быть, чуть-чуть звонче нужного смеялась, когда Гордон знакомил ее с другом. Но Равелстон сразу к ней расположился. Неудивительно, очарования ей было не занимать.

Интерьер ресторана буквально ослепил Гордона артистической стильностью. Темные раздвижные столы, оловянные подсвечники, современная французская живопись на стенах. Один пейзаж напоминал Утрилло. Гордон расправил плечи: спокойнее, смелей! В конце концов, есть еще голубой конверт с пятью фунтами. Деньги Джулии, разумеется, неприкосновенны, и все-таки с ними надежнее. Как с талисманом. Равелстон, ведя компанию к любимому угловому столику, слегка придержал Гордона, прошептав:

- Гордон, давайте, это будет *мой* ужин?
- Идите к черту!
- Мне так приятно посидеть с вами, но не могу же я смотреть, как вы спускаете последние монеты.
- Забудем про монеты.
- Ну, тогда пополам?
- Плачу я! – твердо отрезал Гордон.

Седовласый толстяк итальянец, улыбаясь, почтительно склонился перед столиком. Улыбался он, впрочем, одному Равелстону. Почувствовав, что надо заявить о себе, Гордон отложил меню:

- Решим-ка для начала насчет питья.
- Мне пиво, – торопливо сказал Равелстон, – сегодня что-то пива захотелось.
- Мне тоже, – эхом откликнулась Розмари.
- Бросьте вы! Выпьем хорошего вина. Какого лучше: белого, красного?
- Может, столового бордо, «Мэдок» или «Сен-Жюльен»? – предложил Равелстон.
- О, «Сен-Жюльен» я просто обожаю! – поддержала Розмари, которой смутно помнилась дешевизна этой марки.

Гордон про себя чертыхнулся (уже сговорились? уже хотят заткнуть в гнусное вечное «нельзя себе позволить?»), и если минуту назад бордо вполне устроило бы, теперь требовалось нечто действительно

великолепное – шипучее, с роскошно хлопающей пробкой. Шампанское? Шампанского они, конечно, не захотят... Ага, вот что!

– «Асти» у вас есть?

Официант просиял (за пробки от подобных вин ему шла особая премия), уловил, кто платит, и радостно – обращаясь уже исключительно к Гордону – затараторил, вставляя малопонятные, зато эффектные французские словечки:

– «Асти», сэр? Да, сэр. У нас лучшее «Асти»! Trées fin! Trées vif! [18]

Грустно встревоженные глаза Равелстона напрасно пытались поймать взгляд Гордона.

– Это что, из каких-то шипучих вин? – спросила Розмари.

– Шипучее, очень шипучее, мадам! Trées vif! Хоп! Как фонтан! – восторженно всплеснул ладонями толстяк официант.

– «Асти»! – приказал Гордон.

Равелстон сник: бутылка обойдется чуть не в десяток шиллингов. Гордон, словно не замечая, заговорил о Стендале, вспомнившегося по ассоциации с его герцогиней Сансевериной, чьи чувства «бурлили как асти». Тем временем на столе появилось «Асти» в ведерке со льдом (не по правилам, молча отметил Равелстон). Стрельнула пробка, пенистая струя хлынула в плоские широкие бокалы, и с первым же глотком все трое ощутили могучие чары вина. Розмари успокоилась, Равелстон перестал волноваться из-за нелепого мотовства, Гордон – надменно пыжиться. Ели тартинки с анчоусами, печеную лососину, жареного фазана под хлебным соусом, но в основном пили и говорили. И каким интеллектуальным блеском (очевидным по крайней мере им самим) искрилась их беседа! Говорили, естественно, о бесчеловечности нынешней жизни и нынешней культуры; о чем же еще говорить в наши дни? Как всегда – ах, только совсем иначе, с деньгами в кармане и уже несколько отвлеченно, – Гордон клеймил гиблущую современность: пулеметы, кинофильмы, презервативы и воскресные газеты. Но обычной саднящей боли в голосе его не слышалось; милое дело – обличать гниющий мир, жуя деликатесы, попивая прекрасное вино. Все трое были умны, ироничны. Гордон просто блистал. С дерзкой отвагой автора, известного лишь домохозякам, сшибал авторитеты: Шоу, Джойс, Йейтс, Элиот, Хаксли, Льюис, Хемингуэй – парочка хлестких фраз и в мусор. О, если б можно было длить и длить этот восторг! И разумеется, сейчас ему казалась – *можно*. Розмари выпила один бокал, Равелстон пил второй, Гордон, допив третий, заметил, что на него поглядывает барышня за соседним столиком. Стройная, с прозрачной кожей, миндалевидными глазами – сразу видно, привыкла к роскоши, из культурных верхов. Интересуется, наверно, кто он такой. Необычайно воодушевившись, Гордон шутил, острил, причем действительно *удачно*. Деньги, деньги! Смазка и для колес, и для мозгов.

Однако со второй бутылкой волшебства поубавилось. Как-то сразу не задалось.

– Официант! – позвал Гордон. – Еще такая же бутылочка найдется?

– О да, сэр! Mais certainement, monsieur! [19] – радостно кинулся официант.

Розмари, сдвинув брови, толкнула ногу Гордона под столом.

– Не надо, Гордон, хватит!

– Что «не надо»?

– Этой шипучки. Лучше другое вино.

– К дьяволу! Бутылку «Асти»!

– Да, сэр.

Внимательно разглядывая скатерть, Равелстон потер переносицу:

– Гордон, позвольте теперь мне заказать вино?

– К дьяволу! – повторил Гордон.

– Возьми хоть полбутылки, – попросила Розмари.

– Официант! Бутылку!

После этого веселье потускнело. Опять болтали и смеялись, но остроумие Гордона истощилось, барышня за соседним столиком отвернулась. Вторая бутылка почти всегда ошибка. Вино уже и пенилось меньше, и доставляло гораздо меньше удовольствия. Гордон почувствовал, что опьянел; вернее, достиг стадии полупьяно-полутрезвого баланса с характерным ощущением словно раздувшегося тела и утолстившихся пальцев. И хотя трезвая его половина сохраняла способность чутко слышать, отзываться,

беседа стала утомлять. Стремясь загладить впечатление от неприятной сцены, Равелстон и Розмари с преувеличенным интересом схватились за Шекспира. Пошло длинное обсуждение «Гамлета». Розмари довольно искусно переводила зевоту в задумчивые вздохи. Трезвая половина Гордона вставляла какие-то замечания, но пьяная лишь наблюдала и наливалась гневом. Нули, испортили ему весь вечер, чтоб их! А он хочет напиться и напиться! Из второй бутылки – Розмари вообще отказалась пить – Гордон выдул две трети. Но какой хмель с этой кислятины? Пива бы, пива пинтами, квартами! Здоровой мужской выпивки! Ладно, он еще наверстаёт. В конверте еще пятерик; найдется, что продуть.

В глубине зала часы с музыкой мелодично прозвонили десять.

– Ну что, отчаливаем? – сказал Гордон.

Глаза Равелстона умоляли разделить счет поровну. Гордон упорно не замечал.

– Идем в кафе «Империял»! – объявил он.

Счет (два фунта за еду, полтора за вино) уже не мог отрезвить. самого счета Гордон никому, конечно, не показал, но при всех бросил на поднос четыре фунта с небрежным «сдачи не надо!». Кроме денег в конверте у него осталось шиллингов десять. Хмурый Равелстон помог надеть пальто несчастной Розмари, которую ужин, всего лишь ужин, за четыре фунта ошеломил и ужаснул. Их мрачность просто бесила Гордона. Разволновались! Нельзя, что ли, себе позволить? Еще вот пять фунтов в конверте. И он должен, обязан все растратить. Подчистую!

Внешне, однако, Гордон держался прилично и довольно смирно.

– Возьмем, пожалуй, до кафе такси, – сказал он.

– О, давайте пешком, – взмолилась Розмари, – это же рядом.

– Надо взять такси!

Плюхнувшись рядом с Розмари, Гордон, пренебрегая присутствием Равелстона, хотел было обнять свою подругу, но из окна прямо в разгоряченный лоб хлестнуло холодным ветром. Он очнулся, сознание вдруг осветилось вспышкой ужаса, как это иногда бывает среди ночи, когда внезапно пронзает мысль о том, что ты смертен или что прожил ничтожную, глупую жизнь. Минуту, наверно, он сидел, ясно все понимая. И то, как глупо выкинул пять фунтов, и то, что собирается подло спустить другие пять, неприкосновенные. На миг, но очень ярко представились увядшее худое лицо Джулии, ее седина, ее кошмарная спальня-гостиная. Бедная Джулия! Вечная жертва, из которой он годами вытягивает фунт за фунтом, фунт за фунтом, у которой он теперь собирается украсть даже вот эту малость. Как быстро трезвеешь! Скорей сбежать от страшных мыслей, выпить! Выпить, вернуть недавний вдохновенный восторг! Мелькнула пестрая витрина: итальянская бакалейная лавка еще работала. Гордон быстро постучал в стекло шоферу, и, едва машина затормозила, полез через колени Розмари к выходу.

– Куда ты, Гордон?

– За вдохновенным восторгом.

– Куда?

– Необходимо запастись спиртным, пабы скоро закроют.

– Нет, Гордон, нет! Ты уже выпил больше чем достаточно.

– Сидите, ждите!

Из лавки он вышел с литровой, любезно откупоренной хозяином бутылкой кьянти. Розмари и Равелстон, догадавшись наконец, что он еще до ресторана порядком хватил, следили за ним в большой тревоге. В кафе они все же вошли, но думали только о том, как бы отправить его спать. «Пожалуйста, не позволяйте ему пить», – шептала Розмари; Равелстон уныло кивал. Гордон шествовал впереди, никого не видя, вызывая изумленные взгляды своей нежно прижатой к груди бутылкой. Они сели и заказали кофе, едва уговорив Гордона не брать бренди. Всем троем было не по себе в этом огромном, вызывающе нарядном, душном зале, среди оглушительного шума сотен голосов, стука посуды, ритмичного грохота джаз-оркестра. Всем троем хотелось уйти, все нервничали: Равелстон из-за денег, Розмари из-за пьяного Гордона, Гордон из-за терзавшей жажды. Его пьяной половине тут было скучно, ей хотелось разгуляться, хотелось пива, пива! Вместо этой отвратной духоты и сутолоки виделся пивной бар, запотевшие краны над стойкой, высокие кружки с шапками пены. Гордон кинул взгляд на часы – почти половина одиннадцатого, а даже вестминстерские пабы в одиннадцать закроют. (Кьянти приберегалось на потом. Нельзя упустить пиво!) Сидевшая напротив Розмари болтала с Равелстоном, притворяясь спокойной, что-то там щебеча насчет Шекспира. Шекспир сейчас был Гордону противен, зато Розмари вызвала прилив буквально зверского желания. Локти ее лежали на столе, сама она чуть наклонилась, под платьем четко обрисовались маленькие груди. Вспомнилось, как она лежала голая в лесу, дыхание перехватило, даже хмель на секунду

выветрился. Его девушка! Черт, сегодня уж он точно с ней переспит. Почему нет? Вокруг Шефтсбери-авеню полно гостиниц, где не задают лишних вопросов. И у него еще пять фунтов. Он шаркнул, желая игриво коснуться туфельки, но только отдал ей ногу. Она спрятала ноги под стул.

– Пошли отсюда! – резко сказал Гордон и сразу встал.

– Да-да, пойдёмте, – с облегчением подхватила Розмари.

Снова вышли на Риджент-стрит. Вдали огнями реклам полыхала круглая площадь Пиккадилли. Розмари бросила взгляд на автобусную остановку:

– Мне надо успеть вернуться до одиннадцати.

– Вздор! Мы сейчас поищем приличный паб, успеем пивка глотнуть.

– Никаких пабов! Я не пойду, и тебе, Гордон, довольно.

– Пошли, пошли!

Он обнял ее и повел, держа так крепко, будто опасался ее бегства. О Равелстоне Гордон просто забыл. Тот плелся сзади, колеблясь, то ли оставить их вдвоем, то ли все же присматривать за Гордоном. Розмари попыталась освободиться от железной хватки возлюбленного.

– Куда ты меня тащишь?

– В темный уголок. Хочу тебя поцеловать.

– У меня что-то нет настроения.

– Есть!

– Нет!

– Да!

Она смирилась. Равелстон растерянно остался на углу. Гордон и Розмари свернули, оказавшись на узкой темной улочке. Из ниш подъездов тут и там выглядывали проститутки, лица как черепа, густо обсыпанные розовой пудрой. Розмари сжалась. Гордон удивленно покрутил головой и хмыкнул:

– Девки, наверно, тебя принимают за свою.

Аккуратно поставив бутылку возле каменного цоколя, он вдруг схватил Розмари и притиснул к стене. Не собираясь тратить время на прелюдии, стал жадно целовать ее, однако поцелуи давались как-то с трудом. Напутанная его бледным, диким лицом, задыхаясь от жуткого перегара, Розмари уворачивалась, отталкивала его руки:

– Гордон, перестань!

– Почему?

– Что ты делаешь?

– А ты думаешь что?

Навалившись, он пытался, неуклюже, но с пьяной настырностью пытаться расстегнуть ей платье. Это ее окончательно рассердило, она начала яростно вырываться.

– Гордон, сию секунду прекрати!

– Почему?

– Я тебе сейчас по физиономии хлопну.

– Хлопни! Давай, будь со мной скверной девочкой.

– Отстань!

– А как мы с тобой в воскресенье, а? – ухмыльнулся он.

– Гордон, честное слово, дам пощечину.

– Не дашь!

Он грубо запустил руку ей за пазуху. Какая-то незнакомая скотина лапала ее, не Розмари, а просто некое женское тело. Рванувшись, она освободилась, но он снова полез, тут Розмари со всего маха вкатила ему оплеуху и отскочила.

– Ты что? – сказал он, потирая щеку (никакой боли, впрочем, не чувствуя).

– Противно, я ухожу. Завтра все сам поймешь.

– Вздор! Мы сейчас найдем кровать и займемся любовью.

– До свидания! – на бегу кинула она.

Гордон хотел бежать за ней, но ноги налились свинцом. И вообще, ну ее. Он поплелся обратно, найдя все еще стоящего на углу очень мрачного Равелстона, встревоженного как состоянием Гордона, так и парочкой хищно бродивших рядом потаскушек. «В стельку», – вздохнул про себя Равелстон, увидев потное, белое как мел, с одной стороны почему-то (видимо, от алкоголя) воспаленное лицо приятеля.

– Куда вы дели Розмари?

– Ушла, – проговорил Гордон, в качестве объяснения волнообразно махнув рукой.

– Слушайте, Гордон, пора спать.

– Спать, да. Только не в одиночку!

Перед глазами зыбилась жуткая полуночная иллюминация. Гордона охватила смертельная усталость. Лицо горело, тело раскисло и разбухло, череп, казалось, вот-вот треснет. И все это каким-то образом было связано с бешеной пляской мигавшего, заливавшего площадь красно-голубого неона – зловещий блеск обреченной цивилизации, огни тонущего корабля.

– Смотрите, – схватил он за руку Равелстона, – вот так, встречая нас, будет гореть адский огонь.

– Потом обсудим.

Равелстон высматривал свободное такси. Нужно немедленно доставить Гордона домой и уложить. А Гордон силился понять, в экстазе он или в агонии. Трезвая половина с ледяной ясностью видела, что завтра ему захочется убить себя: выкинул деньги на ветер, ограбил Джулию, оскорбил Розмари! Завтра – ох, каково будет завтра! Домой беги, гнала трезвая половина. Однако пьяная половина, посылая к черту малодушие, требовала разгуляться. И пьяная была сильнее трезвой. Светящийся напротив циферблат показывал двадцать минут одиннадцатого. Быстрее, пока открыты пабы! *Haro! La gorge m'ard!* [20] Душу вновь вознесло лирической волной. Под рукой обнаружилось что-то гладкое, круглое – а-а, кьянти. Он вынул пробку. Равелстон услышал крик потаскушек и, повернувшись, с ужасом увидел, что Гордон, запрокинув голову, пьет из горлышка.

– Не смейте, Гордон!

Равелстон подскочил, вырвал бутылку. Струйка вина продолжала катиться по рубашке Гордона.

– Вы что, хотите, чтобы вас в полицию забрали?

– Я хочу выпить, – насутился Гордон.

– Черт возьми, здесь нельзя.

– Отведите меня в паб.

Равелстон беспомощно потер переносицу.

– О Господи! Только не на тротуаре! Хорошо, пойдемте.

Гордон тщательно закрыл кьянти пробкой и уцепился за локоть Равелстона (в чем, собственно, не нуждался, поскольку вполне твердо стоял на ногах). Перейдя площадь, они пошли по Хэй-маркет.

В пабе висел густой пивной туман с острым запахом виски. Вдоль стойки теснилась толпа мужчин, со страстью Фауста ловивших последние прекрасные мгновения. Не брезгуя толчеей, Гордон втиснулся между жирным коммивояжером, пившим «Гиннес», и тощим типом, на вид опустившимся майором, которого отличали унылые сосульки усов и весьма краткий лексикон, практически состоявший из «во как!» и «как это?». Гордон бросил на мокрую стойку полкроны:

– Литровую крепкого!

– Где литровые кружки? – прокричала барменша, отмеряя в стакан виски и кося глазом на часы.

– Литровые на верхней полке, Эффи! – зычно откликнулся с другого конца бара хозяин.

Барменша нажала на кран и подвинула пиво. Гордон взялся за ручку, приподнял огромную кружищу. Ну и тяжесть! Интересно, сколько весит? Пинта воды – это фунт с четвертью, а литр... Хватит рассуждать, пей! Долгий-долгий поток прекрасной свежести оросил горло. Гордон выдохнул, слабо икнув. Теперь еще, ну-ка! Следующий глоток, однако, едва не задушил, плеснувшись в носоглотку. Держись, не блевани! Слышалось, как хозяин кричит: «Закрываем! Последние заказы, джентльмены!» Гордон передохнул и снова припал к пиву. А-а-ах! Пусто. В три глотка – неплохо! Он постучал кружкой о стойку:

– Эй, еще сюда!

– Во как! – сказал майор.

– Хорошо пошло! – одобрил коммивояжер.

Оставшийся у входа Равелстон негромко окликнул «Гордон!» и замолчал (неудобно одергивать приятеля). Гордон напрягся – равновесие уже требовало специальных усилий. Голова по-прежнему трещала, тело пухло и плавилось. Вторая кружка показалась еще тяжелей. От запаха тошнило, от вида тоже – моча какая-то. Эта муть сейчас кишки разорвет. А зачем ты сюда явился? Давай, глотай, ну!

И вдруг – о Боже! Горло не захотело пива, или пиву не захотелось в горло, но жидкость хлынула наружу, заливая Гордона, как бедного братца-мышонка. Потоп, спасите! Народ шарахнулся в стороны. Бах! Кружка брякнулась об пол. Быстро поплыли, закружились лица, зеркала, бутылки. Гордон падал, и единственной опорой в смутном, шатком мире нечто недвижно торчащее рядом (пивной кран). Теряя сознание, Гордон цепко ухватился за надежную ось бытия.

Карусель постепенно остановилась, мозг прояснился. Равелстон старался пробиться на помощь. Из-за стойки причитала барменша:

– Видали! Для чего на кране-то повис?

– Все брюки мне, на фиг, уделал! – вопил коммивояжер.

– Для чего я повис на кране?

– Да-а! Для чего это?

Повернувшись, Гордон узнал тощее длинное лицо майора с обвислыми усами.

– Она говорит «чего я повис на кране?».

– Как это?

Подоспевший Равелстон обхватил Гордона за талию:

– Встаньте же, ради Бога! Вы совершенно пьяны.

– Пьян?

Все вокруг хохотали. Бледные щеки Равелстона вспыхнули.

– Кружек пять пролилось-то, – обиженно напомнила барменша.

– А как насчет моих чертовых брюк? – дополнил претензии коммивояжер.

– Я заплачу, – сказал Равелстон. И, расплатившись, повернулся к Гордону: – Идемте, вы на ногах не стоите.

Одной рукой Равелстон поддерживал приятеля, в другой нес доверенную ему раньше бутылку кьянти. Однако перед самым выходом Гордон вдруг негодуя качнулся в сторону и с гордым величием произнес:

– Вы, кажется, сказали, что я пьян?

Снова взяв его под руку, Равелстон смущенно забормотал:

– Боюсь, вы действительно несколько...

– Сшит колпак не по кол-па-ков-ски, его надо пе-ре-кол-па-ко-вать! – без запинки отчеканил Гордон.

– Дружище, вы *перебрали*, вам надо домой.

– Узри в своем глазу соринку, прежде чем видеть сучок в глазу брата твоего, – парировал Гордон.

Равелстон уже успел вытащить его на улицу. «Сейчас возьмем такси», – сказал он, напряженно вглядываясь в поток машин. Шумно валил народ из закрывшегося паба. Гордону на воздухе стало лучше. Рассудок работал как никогда. Сатанинский неоновый огонь подсказал новую блестящую идею.

– Послушайте-ка, Равелстон! Эй!

– Да?

– Давайте прихватим пару шлюх.

На пьяную болтовню не стоило обращать внимания, и все же Равелстон был шокирован.

– Не надо о таких вещах, дружище.

– А? К черту ваши барские замашки. Почему нет?

– Ну, Гордон, что вы говорите? Едва расставшись с вашей милой, очаровательной Розмари.

– Ночью все кошки серы, – заметил Гордон, ощущая себя мудрейшим циником.

Равелстон решил не отвечать.

– Пожалуй, имеет смысл дойти до площади. Там скорее такси поймашь.

В театрах заканчивались спектакли. Толпы людей и машин текли туда-сюда в мертвенном свете. Мозг Гордона все понимал; все гадости, что сделаны и еще предстоит сделать. Словно издалека, как через перевернутый бинокль, виделись свои тридцать лет, пустая жизнь, безнадежное будущее, Джулия, Розмари. С неким сторонним, философским интересом он пристально смотрел на горящие вывески:

– Видите, как зловеще мигает мне этот неон над магазином? Это значит, что я навеки проклят.

– Вполне, – не слушая, откликнулся Равелстон. – Такси! Такси! Эх, не увидел. Подождите меня здесь.

Оставив Гордона у входа в подземку, он торопливо перешел улицу и устремился к площади. На какое-то время мысли затуманились. Затем Гордон обнаружил рядом две хищные мордашки с начерченными бровками, двух девиц в нахлобученных фетровых тарелках, карикатурно напоминавших шляпку Розмари. И они перешучивались.

– Ну, Дора, Барбара (оказывается, он даже знал, как их зовут), что новенького? Что хорошенького под саваном старушки Англии?

– О-ой, у его прям вся щека красная!

– Зачем же вы, барышни, здесь глухой ночной порой?

– О-ой, на прогулочке гуляем!

– Аки львы алчущие?

– О-ой, а другая-то щека, гляди-ка, вовсе белая! Ой, точно, дали ему по щеке-то!

Подъехал поймавший наконец такси Равелстон. Выйдя, остановился как вкопанный.

– Гордон! О Боже мой! Ну что вы тут придумали?

– Позвольте представить: Дора и Барбара.

Равелстон строго сжал губы, но злиться он совершенно не умел. Расстроиться, переживать – сколько угодно. Но не злиться. Пытаясь игнорировать девиц, он потянул Гордона за руку:

– Поехали, старина! Пожалуйста, садитесь.

Дора, крепко схватив Гордона за другую руку, как похищаемую сумочку, заверещала:

– А вам-то че? Че пристаєте?

– Полагаю, вы не хотите оскорбить двух леди? – сказал Гордон.

Равелстон в смущении отступил. Требовалось проявить твердость, но этим качеством он тоже не обладал. Взгляд его все-таки скользнул, упав на Дору, на Барбару – роковая ошибка. Какие-никакие, это были человеческие лица. Что он теперь мог, чувствуя ту же беспомощность, которая мгновенно заставляла руку лезть в кошелек при виде нищего? Несчастные создания! Не хватало духа прогнать их. Более того, Равелстон понял, что придется ввязаться в это скверное приключение. Впервые в жизни его вынудили общаться с проститутками.

– Будь оно проклято! – тихо пробормотал он.

– Allons-y! [21] – сказал Гордон.

В такси Дора назвала адрес. Затиснутый в угол Гордон мгновенно куда-то провалился, изредка выныривая из густой мглы со слабым ощущением реальности. Его несло сквозь тьму, мерцающую разноцветными огнями (или это огни неслись мимо?). Словно на океанском дне, и вокруг косяки стремительных светящихся рыб. Ну да, он же проклятая душа, блуждающая в преисподней: черная бездна, колючие искры адского пламени. Однако в аду непременно адские муки, а здесь? Он напрягся, пытаясь выяснить свои чувства. Провалы в сознании совершенно обессилили, голова раскалывалась. Гордон шевельнул рукой – рука нащупала коленку, резинку чулка, чью-то вяло отзывчивую ладонь. В следующий момент его тряс за плечо Равелстон:

– Гордон, Гордон! Проснитесь!

– М-м?

– Боже мой, Гордон! Causon en francais. Qu'est-ce que tu as fait? Crois-tu que je veux coucher avec une sale? [22] О, черт!

– Парлей вуй франсей! – радостно завизжали девицы.

Гордон был приятно удивлен. Славный все-таки малый Равелстон – поехал к девкам правове́рный социалист. Вот это по-пролетарски! Будто догадавшись о впечатлении Гордона, Равелстон удрученно затах и ехал, употребляя все силы, чтоб не коснуться сидящей рядом Барбары. Такси остановилось возле какой-то дыры с криво висевшей над подъездом табличкой «Гостиница». Почти все окна были темными, но изнутри доносился пьяный песенный вой. Кое-как выкарабкавшись из машины, Гордон привалился к помогавшей ему Доре. Дай руку, Дора. А, ступенька? Во как!

В темноватой и грязноватой, покрытой линолеумом прихожей пованивало низкопробным временным обиталищем. Откуда-то слева протяжно выводил рулады дребезжащий хриплый фальцет. Явилась, кивнув Доре, злющая косоглазая горничная (ну и харя! в страшном сне не привидится!). Поющий голос, переключившись на весьма натужное веселье, затянул:

Если кто своей мамашке
Скажет про милашку,
Ему надо рот зашить,
Ему надо...

И нудное похабное перечисление всяческих наказаний. Совсем мальчишеский голос парнишки, которому бы сидеть дома с матерью и сестричками, играть в шарады. Компания каких-нибудь юных идиотов, упившись, резвится со шлюхами. Гордону песня напомнила о чем-то важном:

– Мне надо хлебнуть! Где мое кьянти?

Вошедший последним Равелстон протянул бутылку. Вид у него был просто затравленный, на неотступную Барбару он боялся даже взглянуть, глаза его умоляюще зывали к Гордону (ради всего святого, нельзя ли нам отсюда?). Гордон в ответ метнул сердитый взгляд (терпи! не трусь!) и подхватил под локоть свою спутницу. Пошли, Дора! Ага, по лесенке. Лови момент!

Умело, крепко поддерживая кавалера, Дора оттянула его в сторону. Сверху по неприглядной лестнице спускалась пара. Впереди, торопливо застегивая перчатки, молодая дама, за ней средних лет облысевший господин в черном пальто и белом шелковом кашне, с цилиндром в руке. К выходу господин прошел, словно бы никого не замечая; нашкодивший почтенный отец семейства. Гордон смотрел на его глянцевою лысину – предшественник! Наверное, в той же кровати. Под тем же святым покровом. Ну, Дора, наш черед! Эх, лесенка! *Difficilis ascensus Avernī* [23]. Все правильно! Еще ступенька? Вот и пришли; линолеум в шашечку, белые двери. Запах помоев и, чуть слабее, несвежего белья.

Нам сюда, вам туда. Равелстон замер у соседней двери, глядя на Гордона собачьими глазами (о Боже, не могу! неужели я *должен!*). Гордон сурово кивнул (мужайся, Регул! Долг выше смерти! *Atqui sciebat quae sibi Barbara* [24]). Это великий, самый пролетарский твой поступок!). Лицо Равелстона внезапно прояснилось от блеснувшей счастливой мысли: можно ведь просто так заплатить этой девушке, без ее услуг. Собравшись с духом, он вошел. Дверь закрылась.

Итак, пришли. Жутковатое убожество. Линолеум, газовый камин, огромная кровать с мятыми сероватыми простынями. Над изголовьем цветной снимок из «Звезд Парижа» – фальшивка, оригиналы отнюдь не так прекрасны. Черт возьми! На бамбуковой подставке у окна фикус! О, как нашел ты меня, враг мой? Ну, иди ко мне, Дора, хоть разгляжу, с кем я.

Ага, он уже, кажется, лежит, в глазах туман. Над ним склоняется личико с начерченными бровями. То ли выклянчивая, то ли угрожая, спрашивает:

– А мой подарок?

– Сначала поработай. Неплохие губки. Ну, ближе, еще ближе. А-ах!

Нет. Не получается. Хотенье есть, а вот с умением проблема. Дух жаждет, плоть слаба. Еще попытку. Нет, никак. Надо бы винца (смотри трагедию «Макбет» [25]). Так, последнюю попытку. Увы.

Что-то сегодня не того. Ну ладно, Дора, не волнуйся. Получишь ты свои два фунта. У нас оплата не сдельная, почасовая.

Он кое-как перевалился на спину.

– Давай-ка лучше выпьем. Вон там, у зеркала, бутылка, неси ее.

Дора принесла. Что ж, хотя бы не согрешил. Непослушными руками Гордон приставил горлышко ко рту и запрокинул бутылку, но кьянти, не попав в судорожно сжатую гортань, хлынуло через ноздри – Гордон чуть не захлебнулся. Это его доконало. Обмякшее тело, свалившись набок, начало сползать с кровати, лоб стукнулся в пол. Ноги, однако, остались наверху, и некоторое время Гордон размышлял, возможно ли существовать в столь странном положении. Этажом ниже юные голоса все еще были хором:

Сегодня вечером гульнем,
Сегодня вечером гульнем,
Сегодня вечером гульнем,
А у-у-утром протрезвеем!

9

Да уж, *пришлось* наутро протрезветь!

В тяжелой мгле забрезжило сознание, и Гордон, чуть разлепив веки, заметил непорядок со стеллажами. Во-первых, книги не стоят, а лежат стопками. Во-вторых, корешки сплошь белые; белые, глянцево-белые как фарфор.

Открыв глаза пошире, он шевельнулся. Движение моментально отозвалось стреляющей болью в самых разных частях тела (например, почему-то в икрах и висках). Лежал он на боку, щекой на твердокаменной подушке, под мерзким колючим одеялом, царапающим рот. Кроме острых болезненных прострелов он во всем теле ощущал постоянную тупую боль.

Вдруг, как подброшенный, он скинул одеяло и сел – да это полицейская камера! В ту же секунду желудок свело спазмами, кое-как Гордон дополз до стоявшего в углу унитаза, его несколько раз вырвало.

Затем начались минуты такой боли, когда казалось, что вот-вот придет конец: жилы лопнут, череп взорвется. Ноги подкашивались, свет жег глаза потоком раскаленной лавы. Сев на краю койки и обхватив голову руками, Гордон постепенно приходил в себя. Камера метра два на четыре, узким глубоким колодцем. Стены до самого потолка облицованы белой чистой плиткой. И как это они умудряются мыть ее там, наверху? Из шланга, что ли? В одном торце высокое оконце с сеткой, в другом, над дверью, защищенная решеткой лампочка. Вместо койки – откидная полка, в железной, покрашенной зеленой краской двери глазок с наружным откидным щитком.

Утомившись обзором, Гордон лег и вновь натянул одеяло. Причины своего пребывания здесь интереса не вызывали. Довольно отчетливо помнился вечер накануне; по крайней мере до того момента, когда он очутился у Доры, в ее логове с фикусом. А что было потом, Бог знает. Вроде какой-то скандал, его швырнуло наземь, звенело разбитое стекло. Возможно, он кого-нибудь убил. И наплевать. Отвернувшись к стене, он укрывшись с головой.

Через некий промежуток времени лязгнула створка глазка. С трудом повернув одеревеневшую, казалось заскрипевшую, шею, Гордон увидел светло-синий глаз и кусок плотной розовой щеки.

– Чайку хлебнешь?

Стараясь приподняться, Гордон застонал, опять схватился за голову. Чай, конечно, был бы весьма кстати, но если с сахаром, это погибель.

– Да, пожалуйста.

Констебль просунул полную до краев фаянсовую кружку. Лицо молодого полисмена смотрело добродушно, белые ресницы и широченная грудная клетка напоминали ломувую лошадь. Речь его, хоть и простоватая, звучала бойко.

– Хорош видок у тебя был, как привели!

– Плохо мне.

– Ну, вчера небось было и похуже. А чего на сержанта-то кидался?

– Я?

– Кто ж еще? Прямо-таки озверел, орал мне в ухо: «Как этот человек смеет качаться? Он пьян, я ему врежу!» По протоколу у тебя «пьяный дебош». Хорошо еще, так надрался, что кулаком в лицо сержанту не попал.

– Что мне теперь будет?

– Пятерик штрафа или две недели отсидишь. Сегодня разбирает судья Грум. Считай, повезло, что не Уокер. Тот-то трезвенник, крут насчет пьяниц.

Чай был таким горячим, что Гордон, не заметив приторного вкуса, залпом выпил кружку.

Злобный голос (явно того сержанта, которому он хотел врезать) рявкнул из коридора:

– Выведи и умой его. «Черная Мэри» поедет полдесятого.

Констебль отпер дверь. В холодном коридоре Гордона затрясло, через пару шагов все перед глазами завертелось. Крикнув «тошнит!», он бросился к стене и, позеленевший, придерживаемый мощными руками констебля, изверг струю рвоты. Сладкий чаек! По каменному полу растеклась длинная вонючая лужа.

– Поганец! – процедил сквозь усы наблюдавший из конца коридора сержант в расстегнутом мундире.

– Давай-ка, приятель, – слегка встряхнул, поставил Гордона на ноги констебль. – Щас мы тя мигом освежим.

Приведя, вернее, притащив Гордона к цементному сливу, он помог арестанту раздеться до пояса. Затем, как опытная сестра милосердия, умело и деликатно обмыл его. Гордон даже набрался сил самостоятельно сунуть лицо под кран, прополоскать рот. Протянув рваное полотенце, констебль повел обратно, наставляя:

– Теперь посиди смирно. И гляди, в суде не перечь. Повинись, обещаю больше не безобразничать. Особо много Грум-то не впадает.

– Где мой галстук? – спросил Гордон.

– Сняли, получишь, как в суд повезем. А то у нас гостил тут один типчик, взял да на галстук своем повесился.

В камере, усевшись на койку, Гордон занялся подсчетом кафельных плиток, но вскоре застыл, локти на коленях, голова в ладонях. Кости ныли, одолевали слабость, зябкая дрожь и, главное, безумная скука. Тащиться в суд, трястись в машине, болтаться по казенным коридорам, отвечать на вопросы, объяснять... Больше всего хотелось остаться одному и чтоб не трогали. Тем временем слышались голоса, шаги. В глазок заглянул констебль:

– Посетители к тебе.

Ох, только визитеров не хватало. Гордон нехотя поднял тяжелые веки – на него смотрели Равелстон и Флакман. Как это вдруг они оказались вместе? Впрочем, какая разница? Хоть бы ушли скорей.

– Привет, парнишка! – хохотнул Флакман.

– Вы зачем? – устало поморщился Гордон.

Измотанный, с рассвета искавший Гордона Равелстон впервые увидел полицейскую камеру во всей красе ее гигиеничной облицовки и бесстыдно торчащего унитаза. Лицо его невольно скривилось от безразличия. Но Флакмана, тертого малого, интерес не смутил.

– Видали уголки похлеще, – подмигнул он. – Смешать бы ему стаканчик «Устрицы прерий», засиял бы новеньким долларом! А что, парнишка, глазки не глядят? Эх, что-то полиняли наши глазки.

– Напился вчера, – бормотнул Гордон, не отнимая рук от головы.

– Донеслась, донеслась, парнишка, славная весть.

– Слушайте, Гордон, – сказал Равелстон, – мы принесли залог, но, кажется, опоздали. Вас сейчас повезут в этот дурацкий суд. Жаль, что вы не назвались каким-нибудь вымышленным именем.

– Я сказал им свою фамилию?

– Вы все сказали. Я, черт меня дер, не уследил, как вы сбежали из того притона.

– И шатался по всей Шефтсбери-авеню, прихлебывая из бутылки! – с удовольствием дополнил Флакман. – Вот только кулаком сержанта, это ты, парень, зря. Сглупил чуток. Да, обязан предупредить – мамаша Визбич учуяла след. Узнала от твоего приятеля, что ты в участке; уверена, что ты кого-то придушил.

– Гордон, послушайте, – вновь начал Равелстон, впадая в обычную неловкость, возникавшую при вопросе о деньгах. – Послушайте меня, пожалуйста.

– Да?

– Насчет этого вашего штрафа. Давайте, я улажу?

– Нет, не надо.

– Дружище, но ведь вас посадят.

– Хрен с ними.

Ему было все равно, пусть хоть на год сажают. Заплатить нечем, в карманах наверняка ни пенни: сам ли отдал Доре, или скорее она успела прибрать. Снова отвернувшись к стене, Гордон упорным молчанием

заставил их наконец уйти. Слышалось, как, постепенно удаляясь, звучный баритон Флаксмана диктовал Равелстону рецепт коктейля «Устрица прерий».

Потом была сплошная гнусность. Гнусная тряска в «Черной Мэри», в зарешеченном боксе, тесном, как отсек общественной уборной. Еще гнуснее бесконечное ожидание в судебной камере, почти такой же, как в участке, даже с тем же количеством плиток, только значительно грязнее. Воздух холодный, но от вони не продохнуть. Бесперывно приводят новеньких; впахивают на пару часов, забирают и частенько опять возвращают ждать приговора или вызова новых свидетелей. Сидели по пять-шесть человек, все на единственном сиденье – дощатой койке. Кошмарнее всего, что оправляться приходилось здесь же, публично. При этом слив в унитазе практически не работал.

До полудня Гордон просидел в прострации, стараясь держаться подальше от унитаза, ощущая болезненную слабость и мерзкую щетину на щеках. Соседи вызывали лишь вялое досадливое раздражение. Однако по мере того как головная боль стихала, он начал их различать. Тощий седой взломщик жутко нервничал из-за того, что станет с женой и дочкой, если его посадят. Взяли его как «подозрительно слонявшегося у подъезда» (имеющим ряд судимостей столь туманные обвинения действительно грозят тюрьмой). Вскидывая руки с необычайно гибкими пальцами, старый взломщик взывал к справедливости. Рядом с Гордоном сидел вонючий, как хорек, глухонемой. Далее – низенький пожилой еврей в пальто с меховым воротником: отправленный в Абердин закупать кошерное мясо, он спустил двадцать семь общинных фунтов на шлюх, а теперь требовал передать его дело раввину. Еще тут был смухлевавший с деньгами Рождественского клуба владелец бара – рослый, плотный, очень любезный, в ярко-синем пальто и с ярко-красным лицом (стандарт успеха барменско-букмекерского класса). Родня вернула присвоенные деньги, но члены клуба все-таки подали на него в суд. И хотя лихости он не терял, периодически глаза его так странно пустели и застывали, что Гордона пробирал холодок. Еще довольно молодой, еще шикарный, человек этот, вероятно, уже погиб. Заведение – которое, конечно, как у всех его лондонских коллег, в когтях какого-нибудь пивовара, – пойдет с торгов, имущество будет конфисковано, после тюрьмы ему не светят ни свой бар, ни вообще работа.

Время ползло медленно и уныло. Разрешалось курить (спички, правда, не позволялись, но охранник давал прикурить через глазок). Сигарет ни у кого не было – выручал достававший из карманов пачку за пачкой щедрый бармен. Арестантов все прибывало. На полчаса в камеру сунули чрезвычайно общительного оборванца, которого, по его словам, «зацапали» бродившим с торговым лотком без лицензии. Отнесли к нему, однако, подозрительно, объявив позже стукачом. Говорили, что полиция часто подсаживает таких говорунов для сбора информации. Был взволновавший всех момент, когда охранник шепнул, что ведут убийцу. По коридору провели парня лет восемнадцати, пырнувшего в живот свою «телку», и вроде насмерть. Однажды в глазок заглянул бледный, изможденный священник: устало бросил взломщику: «Снова тут, Джонс?» – и ушел. Около полудня так называемый обед – кружка чая, два ломтя хлеба с маргарином. За деньги, впрочем, имелась возможность заказать еду в соседнем ресторане. Владельцу бара принесли, например, несколько дымящихся блюд под крышками. Аппетита у бармена не было, угощение досталось сокамерникам. Тревожно слонявшийся в вестибюле, Равелстон, к сожалению, не знал местных порядков и не сообразил послать обед Гордону. Наконец взломщика и владельца бара увели на слушание. Вскоре вернули ждать транспорта в тюрьму: каждому дали по девять месяцев. Теперь бармен расспрашивал насчет тюремных условий, а взломщик инструктировал, делясь богатым опытом. Подробно обсуждалась всякая мерзость в связи с долгим пребыванием вдали от женщин.

Гордона вызвали полтретьего. Пыточное многочасовое ожидание завершилось стремительно, запомнился только герб на высоченной спинке судейского кресла. Под монотонные распевы «Джон Смит – пьянство в общественном месте – шесть шиллингов – проходи – следующий!» подсудимые двигались вдоль барьера, как очередь возле билетной кассы. На каждого секунд тридцать. Дело Гордона слушалось, однако, целых две минуты, поскольку пьянство тут отягчалось хулиганством, и сержант угрюмо свидетельствовал, что его ударили по уху, назвав ублюдком. К тому же некоторое оживление вызвало то, что в протоколе, в графе «род занятий», со слов подсудимого было записано «поэт».

– Вы что, действительно *поэт*! – недоверчиво спросил судья.

– Пишу стихи, – глухо ответил Гордон.

– М-да! Стихи пишете, а вот вести себя прилично не научились. Штраф пять фунтов или арест на две недели. *Следующий!*

И все. Хотя, быть может, достаточно, чтобы какой-то репортер, зевающий в конце пустых рядов для публики, наострил уши.

За дверью зала суда здешний сержант с огромной бухгалтерской книгой регистрировал штрафы. Неплательщиков до отправки в тюрьму разводили по камерам. Того же ожидал Гордон, но Равелстон уже

был тут и уже уплатил. Гордон не воспротивился, позволив посадить себя в такси, доставить на Риджент-стрит. У Равелстона он прежде всего принял горячую ванну, экстренно необходимую после всей скотской грязи последних суток. Равелстон дал бритву, чистую рубашку, носки, пижаму, даже спустился в магазин купить другу зубную щетку. Заботливость как-то смягчала терзавшее его чувство вины: он должен был проявить волю и при первых же тревожных симптомах отправить Гордона домой. Сам Гордон едва заметил эти хлопоты. Не беспокоили и деньги, уплаченные за него. Остаток дня он просидел в кресле перед камином, читая детектив. Сегодня не думать ни о чем! Рано напала сонливость, в восемь он уже отправился в отведенную ему гостевую спальню и мгновенно уснул там мертвым сном.

Наутро Гордон тоже далеко не сразу начал обдумывать сложившуюся ситуацию. Проснувшись в удобной мягкой постели, пошарил, нащупывая спички. Вспомнив, что подобные спальни освещаются электричеством, дернул шнур – над изголовьем засветилось изящное матовое бра. Во рту еще гадко отдавало свинцом – на столике рядом стоял сифон с содовой. Гордон выпил воды и осмотрелся.

Странно валяться в чьей-то пижаме на чьей-то кровати. Особенно когда чувствуешь – не по рангу, нет прав на этот красивый комфорт у тебя, нищего, пропащего. Что его решительно подшибло, Гордон не сомневался. Служба, разумеется, потеряна, и мрачные перспективы проблесков не сулят. С отвратительной ясностью замелькали кадры дикого позавчерашнего кутежа. Во всех деталях, от начальной, упоительно прекрасной, стопки джина до розовых подвязок Доры. Он содрогнулся. Как же, *как же* такое получается? Ах, деньги-денежки! Богатые так себя не ведут. Богач даже в разгуле элегантен. А ты, вдруг заимев монету, с непривычки ломаешься, бахвалишься, швыряешь деньги, будто матрос, одуревший в первом портовом борделе.

Полсуток на тюремной койке. Вспомнилось едкое зловоние в камере полицейского суда. Аромат его будущего. Позорную ночевку в участке скрыть удастся, может, от тетушки и дядюшки, а Джулия и Розмари, наверно, уже в курсе. Розмари не особенно испугаешь, но несчастная Джулия, конечно, умирает от стыда. Джулия – длинная сутулая спина, доброе некрасивое лицо, нерешительно вытянутая над коробочкой чая гусиная шея. Никогда сама не жила, с детства все бросала под ноги ему, «мальчику». Назанимал у нее фунтов сто и даже пятерик не смог вернуть. Выбросил потаскушке!

Погасив свет, он откинулся навзничь. Ну-с, проведем инвентаризацию. Что в наличии? Гордон Комсток, последний в роду Комстоков: тридцать лет, двадцать шесть зубов, денег нет, работы нет, позади лишь дурацкое позерство, впереди – жизнь с протянутой рукой. Имущество: хилое тельце да пара картонных чемоданов с изношенным тряпьем.

В семь Равелстон откликнулся на стук в дверь сонным «да-да?». Вошел встрепанный, почти утонувший в пижаме хозяина Гордон. Равелстон, сиюсь проснуться, помотал головой. Теоретически он поднимался в ранний час общей пролетарской побудки, но фактически открывал глаза после прихода являвшейся в восемь убрать квартиру миссис Бивер. Откинув свисавшие на лицо волосы, Гордон присел в ногах:

– Все к черту, Равелстон. Финиш! Теперь придется адски, дьявольски расплачиваться.

– А-а?

– Конец, говорю. Маккечни, узнав, меня тут же турнет. Кроме того, я вчера не вышел на службу, магазин, видимо, простоял закрытым.

Равелстон зевнул.

– Думаю, обойдется. Этот толстяк – как его? Флакسمан? – позвонил Маккечни, сообщил (надо сказать, весьма убедительно), что вы свалились с гриппом, температура под сорок. Квартирная хозяйка знает, но вряд ли побежит докладывать вашему боссу.

– А вдруг это попало в газеты?

– Господи! Да, действительно! Прислуга через час придет, принесет утренние выпуски. Но разве пишут о всех пьяных правонарушениях? Будем надеяться.

Доставившую свежие номера «Геральд» и «Телеграф» миссис Бивер послали купить еще «Экспресс» и «Мэйл». Нервничая, просмотрели судебные колонки – слава Богу, ни строчки! Ну, в самом деле, Гордон ведь не автогонщик, не знаменитый футболист. Слегка приободрившись, он позавтракал. Равелстон вскоре ушел: навеститься к Маккечни, сообщить новые подробности о заболевшем продавце, вообще разведать обстановку. Потратить несколько дней на возню с Гордоном ему представлялось вполне естественным. Гордон остался беспокойно бродить по квартире, курить, зажигая сигареты одну от другой. В одиночестве дух его снова ослабел. Инстинкт подсказывал, что так или иначе все дойдет до Маккечни; подобные штуки всегда выплывают наружу. И работу он потеряет, и соответственно...

Облокотясь о подоконник, Гордон разглядывал улицу. Грустный денек: хмурому белесому небу, кажется, никогда не проясниться. С голых деревьев медленно сползают капли. Гулким эхом разносится крик угольщика на соседней улице. Всего две недели до Рождества. Веселенькое дело остаться сейчас без работы! Но пугать себя этим просто наскучило. Одолевали похмельные сонливость и резь в глазах. Мысли о поиске нового места нагоняли тоску больше, чем картины бедственной нищеты. Да и не найти теперь ничего, все места прочно заняты. Остается одно – кануть на сумрачное дно, где кишат толпы безработных; в подземную темень голода, грязи, безнадежности. Ладно, только бы уж скорей.

Около часа вернулся Равелстон. Не поднимая глаз, стянул перчатки, кинул их на стул. Гордон понял – проиграно.

- Он все узнал, да?
- Боюсь, так.
- Что, старая гадюка Визбич настучала?
- Нет, все-таки появилось в прессе. В районной газете, которую ваш шеф читает.
- Черт! Я и забыл.

Равелстон вытащил из кармана сложенную газетенку, выходившую два раза в месяц и, поскольку Маккечни давал туда рекламу, регулярно присылавшуюся в магазин. Гордон развернул – ого, как вляпался! Прямо в центре страницы жирным шрифтом:

...

«ПОЗОР ДЕБОШИРУ!»

ПРОДАВЕЦ КНИЖНОГО МАГАЗИНА

ОШТРАФОВАН В СУДЕ

ЗА ПЬЯНСТВО И ХУЛИГАНСТВО

И две колонки текста. Гордон явно достиг пика своей общественной известности, подобный славы уже никогда не обрести. Должно быть, в редакции катастрофически не хватало свеженьких новостей. Хотя у этих районных газеток вообще неопиcуемый местный патриотизм: упавший посреди Харроу-роуд велосипедист волнует больше, чем европейский кризис, а материалы типа «Житель Хэмстеда обвиняется в убийстве» или «Младенец из подвала в Кэмбервиле» подаются с подлинной гордостью.

Равелстон пересказал, что говорил Маккечни. Перед весьма уважаемым клиентом хозяин магазина, конечно, сдерживал гнев, но, похоже, вопрос об увольнении решен. Скандалы, сказал Маккечни, вредят торговле, к тому же рассердила наглая телефонная ложь насчет болезни. Однако возмутительнее всего пьянство его сотрудника. Равелстону даже показалось, что босс Гордона предпочел бы уличить продавца в каком-то жульничестве. Что поделать, мораль трезвенника! Трезвенника столь ярого, что Гордон порой подозревал старика шотландца в тайном алкоголизме: уж очень иногда полыхал его багровый нос. Впрочем, возможно, от привычки нюхать табак. Так или иначе, Гордон попался, влип.

- Мерзавка Визбич, разумеется, прибрала мои вещички. Черт с ними! Тем более я ведь ей задолжал.
- Не беспокойтесь, это будет устроено.
- Ну нет! Нельзя же, старина, чтобы вы и долги мои платили!
- Перестаньте! – Лицо Равелстона порозовело. Он виновато сморгнул и, решившись, выпалил: – Гордон, давайте договоримся. Вам надо пожить здесь, пока эта муть не осядет. Я помогу насчет денег и все такое. И не считайте вы себя обузой, это не так. И вообще, только пока не найдется новое место.

Гордон, нахмуясь, отошел к окну, руки в карманах. Он, конечно, предвидел нечто подобное. Знал, что должен отказаться, и *хотел* отказаться, но вдруг как-то совсем увял, лишь хмыкнув:

- Недостает еще повиснуть у вас на шее.
- Бросьте, ради Бога, говорить глупости! Куда же вам сейчас идти?
- Не знаю; в канаву, видимо. Самое место для меня. Быстрее бы там очутиться.
- Чушь! Вы останетесь здесь. Будем искать место.
- Его, может, и за год не найти. И *не хочу* я ничего искать.
- Зачем так мрачно? Работы предостаточно, что-нибудь подвернется. Только оставьте это вздорное «виснуть на шее», мы же друзья. Считайте, наконец, что одолжили у меня; вернете, когда снова начнете получать.

– Вот именно – *когда!*

В итоге Гордон, разумеется, сдался. Дал себя убедить, позволил Равелстону съездить к мамаше Визбич, выкупить пару старых чемоданов. Даже согласился взять «в долг» два фунта на текущие расходы. Повис, повис на шее любимого приятеля! Какая ж теперь дружба? А кроме того, хотелось в душе не помощи, а лишь спрятаться, уползти куда-то, утонуть. Остался просто потому, что духа не хватило сделать по-своему.

Что касается поисков работы, дело, как и ожидалось, было дохлое. Три дня Гордон активно снашивал подметки, таскаясь по всем книжным магазинам. Стискивал зубы перед входом, открывал дверь, просил переговорить с управляющим и через пару минут, вскинув голову, удалялся. Ответ один – работы нет. Кое-где, правда, набирали людей для рождественских распродаж, но Гордон тут не подходил: ни шика, ни угодливости. Одет скверно, а говорит слишком культурно. Притом быстро выяснялось, за что уволили с прежнего места. Безнадега. К четвертому дню силы напрочь иссякли; только ради Равелстона он еще притворялся, что настойчиво ищет.

Очередным вечером он вернулся, еле волоча ноги. Нервы на пределе, весь день пешком, чтоб не потратить лишний грош. Равелстон, только что поднявшись из офиса, сидел возле камина, читал объемистую корректуру.

– Как успехи? – привычно спросил он.

Гордон не ответил (откроет рот – плеснет поток проклятий всему белому свету). Опустив голову, прошел в свою спальню, скинул ботинки и завалился на кровать. Сам себе отвратителен. Зачем вернулся? Нахлебничать, если даже искать работу больше не собираешься? Должен был остаться на улице, спать под мостом, бродяжить, кланяться милостыню. Что, кишка тонка? Приживальщиком бежишь под тепленькое крылышко? Внизу постучали, Равелстон пошел открыть. Наверно, эта его стерва Хэрмион, которая при недавнем знакомстве, откровенно пренебрегая, не удостоила и парой любезных слов. Вот, теперь уже стук в его дверь.

– Да?

– К вам пришли, Гордон.

– Ко *мне*?

– Покажитесь, пожалуйста. Вас ждут.

Сквозь зубы чертыхнувшись, Гордон нехотя зашаркал к двери. В гостиной стояла Розмари. Сюрпризом это не явилось. Ясно, зачем она тут: упрекать и выражать сочувствие. Тоска какая! Гордон набычился (оставьте вы меня!), но Равелстон был искренне рад. Надеясь, что Розмари подбодрит друга, он вдруг обеспокоился каким-то издательским делом и поспешно ушел.

Они остались наедине. Гордон мрачно застыл, руки в карманах, на ногах огромные шлепанцы Равелстона. Розмари, в своей шляпке, в пальтишке с воротником из цигейки, нерешительно шагнула навстречу. Вид Гордона поразил ее. За несколько дней устрашающая перемена: уже узнавался вялый неряшливый безработный с потухшим взглядом. Лицо словно подсохло, круги вокруг глаз, заметная щетина.

Стесняясь, что ей приходится проявлять инициативу, она легонько коснулась его:

– Гордон...

– Ну что?

Она кинулась к нему, он обнял. Голова ее легла ему на грудь, и вот, конечно, плечи дрожат, старается не всхлипывать. Опять он мигом довел ее до слез. Как же все надоело! Не надо ничего, дайте покой! Машинально он поглаживал ее по спине, а в душе ныла холодная скука. Ему путь в грязь, в канаву, за решетку. Кому нужны все эти ее бурные эмоции!

Гордон слегка отстранил ее. Розмари, с присущей ей волей, тут же взяла себя в руки.

– Дорогой! Как обидно, как обидно!

– Что «обидно»?

– Ну, что работу потерял и прочее. Ах ты, несчастный мой!

– У меня все в порядке. Нечего, черт возьми, надо мной причитать.

Он стряхнул ее объятия. Аккуратно сняв шляпку, Розмари положила ее на подоконник. Она намеревалась кое-что сказать; то, о чем до сих пор тактично молчала, но что сегодня непременно должно быть сказано. Не в ее характере было вилить, ходить вокруг да около.

– Гордон, ты можешь меня порадовать, сделав одну вещь?

– Какую?

– Вернись в «Новый Альбион».

Так! Ну конечно, как иначе! Вот и она надумала со всеми вместе точить, травить его, гнать «делать деньги». Женщина есть женщина. Чудо, что раньше не начала. Обратно в «Альбион»! Единственный его поступок – уход оттуда. Не поддаваться миру вонючих денег это, можно сказать, его святой обет. (О неких творческих надеждах при тогдашнем уходе не вспомнилось.) Одно он твердо знал – никогда, ни за что он не вернется! И спор заранее утомлял полной бессмыслицей.

Щурясь, Гордон пожал плечами:

– Да они меня не возьмут.

– Возьмут, возьмут! Вспомни, что Эрскин говорил тебе на прощание? Они все время ищут способных текстовиков, и тебя там еще прекрасно помнят. Я не сомневаюсь, что тебе стоит лишь пойти и попросить. Тебе положат в неделю фунта четыре, не меньше.

– Ого, четыре фунта! Райское счастье. Можно бы, пожалуй, и фикус завести.

– Гордон, мне не до шуток.

– Я серьезен как никогда.

– То есть ты не вернешься? Даже если они тебя пригласят, не пойдешь?

– За миллион не пойду.

– Почему? Объясни?

– Устал я объяснять.

Розмари беспомощно смолкла. Не достучаться. Вечно эта его вражда с деньгами, эта странная, чрезмерная щепетильность. Но попытка же смотреть, как некий абстрактный лозунг торжествует над здравым смыслом. И как допустить, чтобы любимый человек сам, столь безумным образом, калечил себе жизнь?

– Не понимаю тебя, Гордон, нет, не понимаю, – хмурясь, сказала она. – Ты остаешься без работы, скоро есть будет нечего, но пойти на приличную службу, которую даже не надо выпрашивать, не желаешь.

– Ты права, не желаю.

– Но *где-то* же придется работать?

– Только не на «хорошем месте». Надоело твердить одно и то же. Что-нибудь, в конце концов, найдется. Что-нибудь вроде службы у Маккечни.

– Но ты, кажется, вообще перестал *искать*.

– Я обошел уже всех лондонских книготорговцев.

– И с утра даже не побрился! – вздохнула она, переключившись чисто женским виражом.

Он поскреб подбородок:

– Честно говоря, не озаботился.

– И еще ждешь, что кто-то наймет тебя? Ох, Гордон!

– Ладно, какая разница? Нет сил, охоты нет каждый день бриться.

– Тебе уже лень пальцем шевельнуть! – сказала она горько. – Ты опускаешься, ты просто опускаешься!

– Возможно. Внизу мне уютнее, чем наверху.

Спор продолжался. Никогда Розмари не говорила с ним так резко, взвинченно. Идя сюда, она клялась не плакать, но сейчас слезы вновь ее душили. И самое ужасное, что все это его уже не трогало. Он уже *мог* не отзываться, лишь где-то очень глубоко внутри теплилась искорка врожденного сочувствия. Уйдите все, уйдите! Дайте же «опуститься», утонуть на тихом дне, где нет ни денег, ни судорожных усилий, ни моральных долгов. Кончилось тем, что он ушел и заперся. Подобных столкновений у них еще не бывало. Вполне возможно, думал Гордон, это вообще конец. А, все равно! Он лежал и курил. Завтра же прочь отсюда! Хватит цепляться за Равелстона, хватит ползать в угоду приличиям! Падать и падать – улицы, рабочий дом, тюрьма. Только там желанный покой.

Равелстон нашел в гостиной одну Розмари, застегивавшую пальто. Они уже попрощались, когда она, внезапно обернувшись, тронула его за руку (этому другу, убедилась она, можно довериться).

– Скажите, мистер Равелстон, вы *постараетесь* убедить Гордона пойти работать?

– О, разумеется. Все что смогу. Тут, конечно, свои сложности, но, надеюсь, скоро мы что-нибудь найдем.

– Он так ужасно выглядит! Он просто погибает. И при этом, стоит ему лишь захотеть, у него будет по-настоящему *хорошее* место. Вы знаете про «Новый Альбион»?

Равелстон потер переносицу.

– Да-да, я слышал про эту фирму. Гордон рассказывал после ухода оттуда.

– Вы считаете, он был прав? – спросила она, догадываясь, что Равелстон считает именно *так*.

– Ну, вероятно, это было шагом не слишком разумным. Хотя сама позиция – нельзя участвовать в системе буржуазного торгашеского грабежа – достаточно справедлива. Идея вряд ли осуществимая, однако весьма логичная.

– Ах, по идее замечательно! Но когда человек без работы и есть место, где его ждут, *вправе* ли он отказываться?

– Что ж, отбросив все прагматические соображения и стойко держась принципа, – да, вправе.

– Господи, принципы! Гордон, видно, забыл, что такие, как мы, не могут позволить себе принципы...

Наутро Гордон не ушел. В холодном утреннем свете исполнение твердо принятых накануне вечером решений дается трудновато. Себя он успокоил тем, что остается только на денек, затем опять «только денек», и пробежало еще пять дней. По-прежнему он безнадежно болтался у Равелстона, исключительно приличия ради изображая поиски работы. Уходил и часами сидел в читальнях, приходил и весь вечер валялся на кровати, куря бесчисленные сигареты. Страх улицы держал его. Было до боли мерзко, унижительно. Ужасно навязаться нахлебником; еще ужаснее, когда твой благодетель таковым себя ни за что не признает. Деликатный сверх всякой меры Равелстон уплатил его штраф, его квартирный долг, поселил у себя, «одолжил» пару фунтов – и все это в порядке рядовых дружеских услуг. Время от времени Гордон пытался проявить достоинство. Диалоги повторялись слово в слово.

– Слушайте, Равелстон, не могу я больше вас стеснять. Ну сколько можно? Завтра же уйду.

– Дружище, не выдумывайте! Где вы (оскорбительное «возьмете деньги» не выговаривалось)... найдете кров?

– Обойдусь. Есть ночлежки и всякие другие углы. У меня еще осталось с десяток шиллингов.

– Не глупите, пожалуйста! Гораздо лучше вам побыть здесь, пока не найдете работу.

– Этак можно и год ждать! Невозможно вас дольше обременять.

– Чушь, чушь, дружище! Я рад, что вы живете у меня.

Но разумеется, лукавил прикутивший его друг. Чему тут радоваться? И неудобство, и постоянное напряжение. Как изящно не маскируй благотворительность, суть неизменна: один дает, другой берет. И естественно, обоюдное раздражение вплоть до тайной ненависти. Не вернется бывшая искренность их дружбы! Чувство, что он мешает, сковывает, докучает, не покидало Гордона ни днем, ни ночью. За столом он почти ничего не ел, отказывался от сигарет Равелстона (сам покупал себе самые дешевые), даже камин в своей комнате не зажигал. Мог бы, так сделался бы невидимкой. Но его видели. Ежедневно захаживал разный народ, и всем до единого было понятно, на каком положении он здесь. Сотрудники «Антихриста» между собой судачили об очередном жалком песике, которого пригрел главный редактор. У двоих прихлебателей обнаружилась даже ревность. Три раза заезжала демонстративно презирующая Хэрмион, и Гордон тут же сбегал; однажды, когда эта стерва прибыла поздно вечером, пришлось слоняться у подъезда до полуночи. Убиравшая в квартире миссис Бивер тоже «видела его насквозь» (еще один «молодой автор» из бездельников, что норовят сидеть на шее бедного мистера Равелстона) и всякими тонкими способами тоже выказывала ему неприязнь. Любимой ее уловкой было сгонять его, где бы он ни присел, своим трудовым рвением: «А теперь, мистер Комсток, если вы *не возражаете*, я должна тут почистить!» Он тут же вскакивал, покорно плелся прочь.

Однако – вдруг и без каких-либо его стараний – Гордон все-таки получил работу. Старый Маккечни, несколько смягчившись (не до такой степени, чтобы снова взять Гордона, но готовый при случае помочь), написал Равелстону, что в Ламбете владелец книжной лавки мистер Чизмен ищет помощника, и, вероятно, работа там будет, хотя, вероятно, условия не лучшие. Что-то об этом Чизмене Гордон слышал – в мире книжной торговли все всех знают, но идти туда не хотелось. Ни туда, ни куда-нибудь еще, где надо

служить, суетиться, вместо того чтоб тихо, сонно погружаться на дно. Лишь неловкость перед столько сделавшим для него Равелстоном заставила его утром отправиться в Ламбет.

Пришлось довольно долго топтать к югу от моста Ватерлоо. Лавка оказалась ветхой, убогой; причем над витриной значилось имя не Чизмена, а Эддриджа. В самой витрине, впрочем, лежал фолиант в драгоценном пергаменте и несколько старинных атласов. Видимо, Чизмен специализировался по «раритетам». Набрав в грудь воздуха, Гордон вошел.

На звяканье дверного колокольчика из глубины лавки возник какой-то страшноватый гном с острым носом и лохматыми черными бровями. Хищно глянув на Гордона, он заговорил, почти не разжимая губ, кромсая фразы до минимальных порций: «Чем могу?» Гордон объяснил причину своего прихода. Мистер Чизмен метнул на него зоркий взгляд и произнес:

– Комсток? Лучше в кабинете. Не споткнитесь.

Гордон последовал за ним. Крошечный, зловещего вида Чизмен был почти карликом. Правда, у лилипутов обычно туловище нормальной длины и только некий намек на ноги, у Чизмена же было уродство иных пропорций: ноги как ноги, но выше все сплющено, так что зад чуть ли не под лопатками. Фигура его при ходьбе очень напоминала ножницы. К характерным персональным особенностям относились также мощные плечи, огромные узловатые руки и манера резко, быстро вертеть головой. Одежду отличала лоснистая жесткость грязного, задубевшего старья. Когда они уже входили в кабинет, звякнула дверь, вошел клиент с книжкой из уличной коробки «все по шесть пенсов». Потребовалось дать сдачу. К кассе Чизмен, однако, не пошел (кассы, видимо, вообще не имелось), но вытащил откуда-то из-под жилета засаленный замшевый кошелечек и стал копать в нем, прикрыв ладонями.

– Люблю денежки при себе, – пояснил он, хитро глянув на Гордона снизу вверх.

Несомненно, бережливый мистер Чизмен не тратил зря ни слов, ни пенсов. В кабинете хозяин лавки допросил Гордона, добиваясь признания в увольнении за пьянку. Все ему, разумеется, уже было известно. Несколько дней назад, встретившись на аукционе с Маккечни и узнав эту историю, он сделал стойку, потому что как раз искал помощника, а за подмоченную репутацию пьянчужке можно скостить жалованье. Гордон видел, чем его собираются прижать, тем не менее абсолютным злодеем Чизмен ему не показался. Обманет, если сможет, поиздевается при случае и в то же время оценит тебя с неглупым высокомерным юмором. Чизмен ввел Гордона в курс дела, поговорил о торговле, похихикал, хвалясь своим ловкачеством. Смеющийся рот выгибался, словно собираясь проглотить длинный острый нос.

У него, рассказал Чизмен, появилась идея расширить бизнес, организовав двухпенсовую библиотеку. Ее, конечно, нельзя завести при магазине – ценителей антиквариата такая пошлость отпугнет. Так что он снял неподалеку помещение, и они сейчас сходят туда. Объект осмотра находился дальше по той же улице, между засиженной мухами мясной лавкой и шикарным похоронным бюро. Реклама в витрине бюро привлекла внимание Гордона: оказывается, можно прекрасно лечь в могилу всего за два фунта и десять шиллингов, можно даже обеспечить себе захоронение в рассрочку; рекламировалась также кремация – Достойно, Гигиенично и Недорого.

Помещение будущей библиотеки состояло из одной узкой комнаты-кишки с окном в торце, дешевым фанерным столом, стулом и шкафом картотеки. Свежеокрашенные полки еще были пусты, но Гордон сразу понял, что это будет не тот уровень, что у Маккечни. Там держали сравнительно солидный стиль, книг ниже Этель Делл не водилось, имелись даже сочинения Лоуренса и Хаксли. Здесь же явно предполагалась нацеленная на нижайший вкус библиотека из разряда щедро усеявшей Лондон так называемой «книжной плесени». В таких местечках не найдешь ни одной книги, упомянутой в обзоре или вообще известной культурному читателю. Сюда идет продукция специальных издательских фирм, для которых несчастные поденщики строчат в год по четыре романа, изготавливая тексты, как фабричные сосиски, только менее профессионально. Фактически это раздутые до толщины романа убогие рассказы, и поставляют их владельцам библиотек всего по полтора шиллинга экземпляр. Деловито, словно речь шла об угольных брикетах, Чизмен сказал, что товар еще не заказан. Зато главные тематические блоки уже определились, на стеллажах уже были таблички с указанием секций: «эротика», «криминал», «ковбои» и пр.

Мистер Чизмен изложил условия. Все просто. Десять часов ежедневно брать деньги, выдавать книжки и отгонять книжных воров. Недельное жалованье, добавил он, искоса щурясь на Гордона, полтора фунта.

Немедленным согласием Гордон разочаровал хозяина, который ждал протестов и затем наслаждения своим триумфом, когда он напомнит, что голодранцам выбирать не приходится. Но Гордон был доволен. Работа подходящая, *спокойная*, без всяких амбиций, стараний и надежд. А что на десять шиллингов поменьше – так зато на десять шагов ближе к канаве. То, что надо.

«Одолжив» у Равелстона еще два фунта, он снял поблизости спальную конуру. Мистер Чизмен заказал пять сотен изданий по основным темам, и за четыре дня до Рождества Гордон приступил к службе. Так совпало, что это был его тридцатый день рождения.

10

Вниз, вниз! В уютную подземную утробу, где нет ни поиска работы, ни ее потери, нет родственников и заботливых друзей, нет страха, упований, чести, гордости, обязательств – никаких настырных кредиторов.

Стремление это было далеко от жажды физически исчезнуть, умереть. Вело иное чувство. Усиливалась, крепла мятежная злость, с которой Гордон проснулся в камере. Та дикая пьяная ночь будто переломила жизнь. Неодолимо потянуло вниз. Восставший против денежного деспотизма, Гордон все-таки держался некоего кодекса приличий. Теперь он рвался сбежать уже от всех правил и уставов. Как сказала Розмари, «опуститься»! Вот именно! Забыв достоинство и стыд, на дно, на дно! Как хорошо там, в катакомбах под миром денег, в душных сумрачных ночлежках, среди падших, в *неразличимой* толпе бродяг, нищих, воров и проституток. В этом подземном царстве теней уже не гнетут провалы, не светят шансы, не терзает самолюбие. На уровне *ниже* любых амбиций полное равенство. Приятно было представлять бескрайние кварталы Южного Лондона, в тусклых кирпичных дебрях которого можно навеки затеряться.

И работа отвечала (во всяком случае, близка была) новым желаниям. В нищем Ламбете, на хмурых зимних улицах, меж постоянно рыщущих, алчущих «чайку» землисто-бурых невнятных личностей виделось, ощущалось – *тонешь*! Порваны связи с благонравным, культурным обществом. Не явятся клиенты-умники и не заставят корчить из себя такого же, как они, умника. Никто не кольнет состраданием свысока: «Ах, как же это вы и *тут*? С вашим талантом, с вашим воспитанием?» Обычный, неприметный житель трущоб. Потребителям идиотских книжек, подросткам и затрапезным теткам, вряд ли заметна его образованность – «малый из библиотеки», вот и все.

Работа, разумеется, немисливо тупая: десять часов подряд (по четвергам – шесть) забирай, выдавай книги, принимай по два пенса. А никого нет, так и делать нечего, разве что самому читать. Окно на тоскливую улицу. Главное событие дня – прибытие катафалка к подъезду похоронного бюро, что отзывалось слабым любопытством в связи со странным фиолетовым оттенком одной из черных лошадей, крашеной и постепенно линявшей. Часы безделья заполнялись чтением окружавшей макулатуры в кричащих обложках. Этот сорт книжек, что глотаются по штуке в час, был сейчас самым подходящим. Литература двухпенсовых библиотек поистине лучшее средство для «бегства от реальности»: великолепно, еще удачней кинофильмов баюкает сонный разум. Так что, когда просили нечто из разделов «эротика», «криминал», «ковбои» или «роман» (непреренно с ударением на первом слоге), Гордон давал советы с глубоким знанием дела.

Чизмен, если до скончания веков не напоминать ему про повышение зарплаты, хозяином был вполне сносным. Естественно, он сразу заподозрил Гордона в отжуливании денег и через пару недель изобрел систему строжайшей ежедневной отчетности (хотя, вроде принцессы на горошине, все продолжал беспокоиться: мухляя с регистрацией, работник мог, мог красть в день пенсов шесть, а то и десять!). И все же у Чизмена даже было какое-то свое, уродливое обаяние. Приходя вечерами за выручкой, он садился посчитать денежки, поболтать, похихикать, радуясь успеху последних плутней. Из этих бесед обрисовалась его история. Поднялся Чизмен на торговле ношеной одеждой – своим, так сказать, душевном деле; книжную лавку три года назад он унаследовал от дяди. Тогда это была жалкая пыльная лавчонка, никаких стеллажей, книги без всякой сортировки валялись кучами, привлекая порой кладоискателей, но главным образом собирая гроши продажей затрепанных триллеров. К этой неприбыльной свалке Чизмен вначале отнесся кисло и пренебрежительно, надеясь, поскорей ее продав, вернуться к оставленной на приказчика любимой ношеной одежде. Однако вскоре он сообразил, как сделать деньги на книжном старье, и в нем открылся талант бизнесмена-антиквара. За два года он сделался одним из самых известных, процветающих лондонских букинистов. Цена книги не выше старых брюк, вовсе не собираясь их *читать*, не понимая страсти коллекционеров (которых он воспринимал примерно так же, как фригидная проститутка своих клиентов), он умудрялся неким внутренним чутьем угадывать, чего стоит тот или этот ветхий том. Мозг его изумительным образом сохранял данные всех аукционов, каталогов. Нюх вел его безошибочно. Особенно он пристрастился скупать библиотеки покойников, прежде всего – служителей церкви. В дом едва опочившего духовного лица летел стервятником, поскольку, объяснял он Гордону, уйдя в мир иной, священники частенько оставляют шикарные собрания книг и глупых вдов. Жил Чизмен над книжной лавкой; семьи, друзей и каких-либо некоммерческих увлечений не имелось. Чем заполнялись его вечера, неведомо. Гордону представлялось нечто такое: двери и ставни на двойных запорах, а сам Чизмен, расположившись перед грудой монет и ассигнаций, тщательно пакует сокровища в табачные жестянки.

Несмотря на грабительскую хватку Чизмена, личной неприязни со стороны хозяина Гордон не чувствовал. Иной раз старик даже, вытащив из кармана пакетик чипсов, предлагал в своем скупом стиле:

– Чипс?

Вытянуть больше пары ломтиков крепко зажатый в кулаке пакет не позволял, но это, безусловно, являлось дружественным жестом.

Что касается норы, снятой Гордоном на боковой улочке в конце Ламбет-кат, клинообразная чердачная комнатенка со скошенным потолком необычайно соответствовала образу «каморки поэта». Складная низкая кровать со стеганым лоскутным одеялом и простынями, менявшимися через две недели; дощатый стол, весь испещренный бурыми кружочками от заварных чайников; шаткий кухонный стул; умывальный жестяной таз; камин с решетчатой конфоркой внутри, а также голый, некрашенный, потемневший от грязи пол. Под пузырями рваных розовых обоев – гнездилища клопов (впрочем, ввиду зимнего времени апатичных и, если не натапливать, мирно дремавших). Кровать полагалось застилать самостоятельно, а ежедневно «подметаться» в комнате бралась хозяйка, миссис Микин, хотя четыре дня из пяти сил ее хватало только на лестницу. Стряпали тут каждый у себя; газовых плит, конечно, не было. Двумя этажами ниже размещалась единственная на всех жильцов, едко вонявшая раковина.

Соседнюю каморку занимала высокая полубезумная старуха с лицом красивым, но чумазым, как у коцегара. Шествуя по тротуару трагической королевой, она что-то бормотала себе под нос, а ребятишки вопили ей вслед «негритоска!». Ниже проживали женщина с непрестанно кричащим младенцем и молодая пара, чьи бурные ссоры и примирения слышал весь дом. Квартирку второго этажа снимал вольный живописец, кормивший жену и пятерых детей на пособие и случайные мелкие заработки. Где-то в самом низу ютилась хозяйка, миссис Микин. Гордону здесь нравилось. Никакой скаредной «благопристойности» миссис Визбич, шпионства, ощущения виноватой робости. Плати вовремя и делай что пожелаешь: приползай вдрызг пьяным, води женщин, сутками валяйся на постели.

Мамашу Микин чужие дела не трогали. Растрепанная, рыхлая, вся словно из сырого теста, она, как говорили, в молодых годах не слишком себя соблюдала, что косвенно подтверждалось особенной ее симпатией к персонам в брюках. Однако даже у мамашы Микин имелись представления о респектабельности. Едва Гордон занял свой отсек чердака, с лестницы послышалось натужное пыхтение тащившей, видимо, что-то тяжелое хозяйки, затем мягкий толчок в дверь коленом или тем пухлым бугром, где ему полагалось быть.

– Вот вам! – сияя, объявила с порога радушная хозяйка. – Для красоты! Люблю, чтоб у меня жильцу уют всякий. С энтим-то вроде бы как по-домашнему.

«Энтим» оказался фикус. Сердце на миг сдавило – даже здесь! О, как нашел ты меня, враг мой? Цветок, правда, был совсем дохлый, явно засыхающий.

В этом убежище, пожалуй, можно жить счастливо, если никто не будет лезть в душу. Можно, *можно*, если все позабыть, на все махнуть рукой. Целый день заниматься бессмысленным и бесполезным делом, впадая в некую летаргию; вечером возвращаться и при наличии угля (мешок у бакалейщика – шесть пенсов) натапливать каморку до духоты; сидеть на сухомятке из чая, бекона и хлеба с маргарином; валяться на грязной кровати, читая триллеры или до двух ночи решая ребусы и кроссворды. Следить за собой Гордон почти перестал. Брился через день, мыл только лицо, руки и шею до воротничка, в отличные общественные бани поблизости ходил не чаще чем раз в месяц, кровать по-настоящему не убирал, лишь простыни переворачивал, а скудную свою посуду споласкивал, дважды используя каждую плоску. Густая пыль вообще не вытиралась, в камине около конфорки вечно громоздились сальная сковородка и тарелки с остатками яичницы. Однажды ночью из-под лопнувших обоев выползли клопы; Гордон с интересом наблюдал, как они чинной парной вереницей струились по потолку. Ни о чем не жалея, катиться вниз, все чувства заменить мрачным «плевал я!». Зачем барахтаться? Пусть жизнь расшибла, есть возможность дать сдачи, отвернувшись от нее. На дно, в безвольный, бесстыдный туман! Опускаться легко, конкуренты не мешают.

Но, странное дело, даже упасть без борьбы не получится. Найдутся, затеребят спасатели – родня, друзья, подруги. Казалось, все знавшие Гордона кинулись жалеть, допекать его, писать ему. По письму от тети Энджелы и дяди Уолтера, много писем от Розмари, письма от Равелстона, от Джулии. Даже Флакسمан черкнул пару строк с пожеланием удачи (самого его, простив, вернули в семейный рай под фикусом). И эта обильная почта из того мира, с которым хочешь порвать, ужасно раздражала.

Да, вот и Равелстон стал противником. Он навестил Гордона по его новому адресу, впервые увидев этот район. К такси, притормозившему на углу Ватерлоо-роуд, невесть откуда слетелась шайка юных оборванцев. Трое мальчишек, вцепившись, одновременно дернули дверцу. По сердцу полоснуло при виде немых, горящих надеждой, рабски молящих о подавании детских физиономий. Сунув горсть пенсов,

Равелстон сбежал. Узкий щербатый тротуар на удивление густо был загажен собачьим дерьмом, хотя никаких собак поблизости не наблюдалось. Лестница провоняла паром варившейся в подвале у мамыши Микин пикши. Взобравшись на чердак, Равелстон сел на фанерный стул; скошенный потолок почти касался его темени. Огонь в камине не горел, светили лишь четыре свечки, пристроенные на блюде возле фикуса. Лежавший в полном облачении Гордон даже не встал, равнодушно глядя вверх, изредка усмехаясь чему-то, понятному только ему и другу потолку. В комнате стоял душный сладковатый запах нечищенной берлоги; камин был заставлен грязной посудой.

– Может быть, чашку чая? – без энтузиазма предложил Гордон.

– Огромное спасибо, не сейчас, – чуть поторопившись, ответил гость.

Эта гнусная общая раковина, эти чашки в липких бурых потеках, эта жуткая вонь на лестнице! Испытав настоящий шок, Равелстон глядел на Гордона. Какого черта! Джентльмену тут не место! В иное время тон столь буржуазных эмоций был бы чужд, но в такой атмосфере святые лозунги померкли, пробудился почти, казалось, укрощенный классовый инстинкт. Нет-нет, подобный кошмар не для человека с образованием и тонким вкусом! Гордону надо немедленно выбираться, уйти прямо сейчас, найти приличный заработок, жить нормально... Вслух, разумеется, все эти резкости не прозвучали. Гордон же забавлялся явным смятением Равелстона, не ощущая благодарности за визит и страдальческие взоры, не чувствуя стыда за выбранное своей волей, внушавшее ужас логово. Заговорил он с легкой язвительностью:

– Полагаете, я в заднице?

– О! Почему же?

– Потому что вместо пристойного угла вот эта жуть. Потому что, на ваш взгляд, мне надо проситься в «Новый Альбион».

– Ни черта подобного! Понимая вашу точку зрения, я всегда говорил, что в принципе вы правы.

– Принцип-то правильный, только на практике ни-ни?

– Нет, вопрос в том, *когда и как*.

– А очень просто. У меня война с деньгами, и живу я согласно фронтовой обстановке.

Щипнув переносицу, Равелстон попытался прочнее утвердиться на шатком стуле.

– Видите ли, ошибка ваша, что, живя в гнилом обществе, вы решили лично сражаться с ним, не подчиняться. Но чего вы добьетесь отказом зарабатывать? Возможно ли отгородиться от всей экономической системы? Невозможно. Путь один – менять, обновлять саму систему, другого не дано. Нельзя навести порядок, забившись в свою нору.

Гордон мотнул ногой на косой потолок своего клоповника:

– Да уж, поганая норища!

– О, я совсем не это имел в виду, – смущенно охнул Равелстон.

– Ладно, давайте по существу. Считаете, мне срочно надо искать хорошее место?

– Ну, места ведь бывают разные. Продаваться в это рекламное агентство действительно не стоит, однако оставаться на нынешней вашей службе, согласитесь, тоже обидно. В конце концов, у вас талант, нельзя им пренебрегать.

– Да-да, мои стишки, – сардонически хмыкнул Гордон.

Равелстон потупился и замолчал. Стихи Гордона, эта его злосчастная поэма «Прелести Лондона»... Если сам он не верит, то никому на свете не поверить в осуществление его грандиозных замыслов. Вообще, он вряд ли сумеет еще хоть что-то написать. По крайней мере в таком месте, сдавшись и опустившись, – никогда. Похоже, выдохся. Непозволительно, однако, дать ему усомниться в призвании гордого нищего поэта.

Довольно скоро Равелстон поднялся. Мучила духота, да и хозяин откровенно тяготился гостем. Натянув перчатки, Равелстон пошел к двери, вернулся, снова нервно снял перчатку.

– Слушайте, Гордон, как хотите, я все-таки должен сказать – здесь отвратительно. Весь этот дом, вся эта улица...

– Ага, помойка. Мне годится.

– И обязательно именно *здесь*?

– Старина, у меня тридцать шиллингов в неделю.

– Тем не менее! Разве нельзя подобрать что-то приятнее, уютнее? Сколько вы платите хозяйке?

– Восемь шиллингов.

– За эти деньги сдаются нормальные комнаты, правда, без мебели. Почему бы вам не снять нечто такое, одолжив у меня десятку на обустройство?

– «Одолжить»? Говорите прямо – *взять* у вас.

Равелстон покраснел (проклятье! зачем такие выражения!). Не отрывая взгляда от стены, решительно произнес:

– Хорошо, если вам угодно, *взять* у меня.

– Есть одно маленькое затруднение – я не хочу.

– Ну бросьте, Гордон! Снимете себе приличное жилье.

– А мне как раз нравится *неприличное*; вот это, например.

– Чем нравится?

– Подходящий пулеметный окоп, – сказал Гордон и отвернулся к стенке.

Пару дней спустя прибыло письмо от Равелстона; пространно, деликатно повторялись устные доводы, а общий смысл сводился к тому, что позиция Гордона чрезвычайно достойна и в принципе справедлива, но!.. Столь ясное, столь очевидное «но»! Гордон не ответил. Увиделись они только через полгода, хотя за это время Равелстон не раз пробовал навести мосты. Странно (можно сказать, позорно для убежденного социалиста), но мысль о забившемся в жалкой дыре умном, культурном Гордоне тревожила сильнее, нежели судьбы всех безработных Мидлсборо. Надеясь расшевелить Гордона, редактор «Антихриста» неоднократно посылал ему просьбы дать что-нибудь в журнал. Гордон не отозвался. Дружба их, чувствовал он, кончилась. Деньки, когда он проживал у Равелстона, все погубили. Убивает дружбу благотворительность.

А еще Джулия и Розмари. Эти в отличие от Равелстона не смущались, выкладывали все, что думали. Без всяких уклончивых «в принципе прав» твердо знали, что правоты в отказе от хорошей работы нет и быть не может. И беспрестанно умоляли вернуться в «Новый Альбион». Хуже всего – травили сообща. Как-то уж Розмари сумела свести знакомство с Джулией. Теперь они частенько собирались обсудить Гордона, чье поведение просто «бесит» (единственная тема заседаний их Женской лиги). Потом устно и письменно, дуэтом и поодиночке долбили его. Совершенно извели.

Хорошо еще, ни одна пока не видела его берлоги у мамыши Микин. Джулию бы наверняка удар хватил. Впрочем, достаточно того, что обе побывали на его службе (Розмари несколько раз приходила, Джулия лишь однажды смогла вырваться из кафе). Эта ничтожная гадкая библиотека привела их в ужас. Работать у Маккечни было, конечно, не особенно доходно, но уж никак не стыдно. К тому же общение с приличной читающей публикой ему, «литератору», могло «чем-нибудь пригодиться». Но за гроши сидеть где-то в труппах и тупо выдавать невеждам бульварный хлам! Зачем?

Вечер за вечером, бродя в тумане по унылому кварталу, Гордон и Розмари жевали все ту же жвачку. Она без устали пыталась, *вернется* ли он в «Альбион»? *почему* не вернуться в «Альбион»? Он отговаривался тем, что не возьмут. И между прочим, действительно могли не взять; он же не появлялся там, не спрашивал (да и не собирался). С ним творилось нечто, просто пугавшее Розмари.

Все как-то сразу стало хуже. Хотя Гордон не говорил об этом, желание убежать, безвольно кануть на дно проявлялось достаточно отчетливо. Отвращали его уже не только деньги, но любая активность. Не возникало прежних перепалок, когда она беспечно смеялась над нелепыми идеями, воспринимая его гневные тирады как обычную милую шутку. Тогда смутные перспективы с его устройством не тревожили (наладится!) и утекавшее время не волновало. Тогда ей, в собственных глазах все еще юной девушке, будущее казалось бесконечным.

Но сейчас появился страх. Колесо времени вертелось слишком быстро. Гордон вдруг потерял работу, а Розмари вдруг сделала буквально ошеломившее ее открытие – она уже не очень молода. Тридцатый день рождения Гордона напомнил, что самой ей *тоже* скоро тридцать. И что же впереди? Возлюбленный покорно (даже, видимо, охотно) катится вниз, в яму, на свалку неудачников. Какие тут надежды пожениться? Тупик осознавал и Гордон. Обоим делалось все очевидней: им грозит расставание.

Однажды январским вечером он ждал ее под виадуком. Тумана в тот раз не было, зато всю гулял ветер, свистевший из-за углов, сыпавший в глаза пыль и мелкий мусор. Гордон раздраженно жмурился – нахохленная озябшая фигурка чуть не в отрепьях, волосы ветром откинута со лба. Розмари, естественно, не опоздала. Подбежав, обняла и чмокнула:

– Ой, какой ты холодный! А почему без пальто?

– Пальто, как известно, в ломбарде.

– О, милый, прости, забыла!

В сумраке под аркадой он выглядел таким измученным, таким потухшим. Слегка сдвинув брови, Розмари продела руку ему под локоть и потянула на свет.

– Пройдемся, здесь совсем закоченеем. Я тебе должна сообщить кое-что очень-очень важное.

– Ну?

– Ты, наверно, страшно рассердишься...

– Говори.

– Я сегодня ходила к Эрскину. Выпросила пять минут для личной беседы.

Гордон уже знал продолжение. Попробовал выдернуть руку, но она крепко прижала его локоть.

– Ну? – угрюмо повторил он.

– Поговорили о тебе. Босс, конечно, сначала побурчал, что дела в фирме идут неважно, штат пора сокращать и все такое. Но я ему напомнила о собственных его словах тебе, и он сказал «да, сотрудник был перспективный». В общем, Эрскин вполне готов вновь предоставить тебе место. *Видишь? Я все-таки была права, тебя возьмут.*

Гордон молчал. Она тряхнула его руку:

– Так что ты думаешь?

– Ты знаешь, – холодно ответил он.

Внутри закипела злость. Именно этого он опасался. Теперь все прояснилось и, значит, будет еще тяжелей. Сгорбившись, держа руки в карманах, Гордон упрямо смотрел вдаль.

– Сердишься?

– Ничего я не сержусь. Только зачем у меня за спиной?

Розмари пронзила обида. Говорить об этом она, конечно, не станет, но вытянуть из начальника такое обещание было непросто. Потребовалась вся ее храбрость, чтобы заявиться в директорский кабинет; дерзкая выходка могла кончиться увольнением.

– При чем тут «за спиной»? Я просто хотела помочь.

– Помочь получить место, при одной мысли о котором меня рвет?

– Хочешь сказать, что не пойдешь?

– Никогда.

– Почему?

– Опять двадцать пять, – вздохнул он.

Розмари отчаянно обняла его, изо всех сил рванула, повернула лицом к себе. Тщетно, тщетно – он ускользает, тает как призрак.

– Гордон, опомнись! У меня сердце разорвется.

– А ты не хлопочи обо мне, не волнуйся. Не усложняй.

– Но зачем ломать себе жизнь?

– Ничего не поделаешь, мне нельзя отступать.

– Ну, тогда что ж... Сам понимаешь.

Мрачно, но без протеста, даже с некоторым облегчением он сказал:

– Тогда, видимо, мы должны расстаться, больше не видеться?

Тем временем они дошли до Вестминстербридж-роуд. Гудящий вихрь с клубами пыли заставил нагнуть головы. Они остановились. Лицо Розмари, сморщившись от ветра, как будто постарело; резкий фонарный свет не добавлял свежести. Гордон взглянул на нее:

– Решила от меня избавиться?

– Господи! Все не так.

– Но поняла, что пора разойтись?

- А что нам делать дальше? – грустно проговорила она.
- Да, непросто.
- Все стало так ужасно, беспросветно. Что же остается?
- Короче, ты меня не любишь?
- Неправда! Ты знаешь, люблю.
- По-своему, наверное. Но не настолько, чтобы любить таким жалким, не способным тебя обеспечить. В мужья не гожусь, в любовники тем более. Так-то вот распорядились деньги.
- Нет, Гордон, *не деньги!*
- Деньги, только они. Они всегда стояли между нами, они везде и во всем.

Сцена еще продлилась, но недолго. Выяснять отношения на холодном ветру сложно. Расставание обошлось без пафоса. Она просто сказала: «Мне пора» – и, чмокнув, побежала к трамвайной остановке. Глядя ей вслед, он ничего не чувствовал, не задавался вопросами о любви. Хотелось лишь скорей уйти с холодной улицы, подальше от страстных диспутов, к себе, в свою душную норку. А если в глазах и стояли слезы – исключительно от ветра.

С Джулией было, пожалуй, даже тяжелее. Узнав от Розмари о верных шансах в «Новом Альбионе», она попросила брата зайти к ней. Кошмар заключался в ее полнейшем, абсолютном непонимании его объяснений. Поняла она только то, что ему предлагают, а он отвергает «хорошее место». И когда Гордон заявил о твердом своем отказе, она залилась слезами, в голос зарыдала. Несчастный полуседой гусенок, откровенно рыдающий посреди своей вылизанной, принаряженной каморки! Рухнули все ее надежды. Семейство гибло, бессильно растеряв деньги, тихо, бесследно исчезая. Одному Гордону открывался путь к успеху, но и он, с упорством настоящего маньяка, стремится вниз. Пришлось застыть каменным истуканом, чтобы выдержать весь этот похоронный плач. Только они две, Джулия и Розмари, терзали душу. Равелстон умный, он поймет. Тетю Энджелу и дядю Уолтера, которые, конечно, тоже робко проблемляли нотации в длинных глупейших письмах, Гордон просто игнорировал.

На горестный вопрос Джулии, что же он, упустив последний спасительный шанс, намерен *делать*, Гордон ответил: «Писать стихи». Так он отвечал всем, и Равелстон серьезно кивнул, а Розмари, хоть и не верившая больше в его писательский труд, промолчала. От Джулии последовал обычный глубокий вздох, стихи всегда ей виделись пустым занятием (зачем, если тут ничего не платят?). В самом Гордоне веры в свое творчество тоже практически не осталось. Хотя он все еще боролся, пытаясь «работать». Обосновавшись у мамыши Микин, набело переписал законченные фрагменты «Прелестей Лондона». Всего получилось около четырехсот строк. Правда, даже переписка утомила его до тошноты. И все-таки время от времени он что-то делал: вычеркивал, вставлял, менял. Но ни единой новой строчки не родилось и не предвиделось. Довольно скоро чистовая рукопись приняла вид прежней неразборчивой пачкотни. Скрученную стопку плотно исписанных листов Гордон всегда носил в кармане – они как-то поддерживали его, что-то доказывали. Итог двух лет, результат тысячи, наверно, напряженных часов. Поэма? Сейчас ее идея уже ничуть его не увлекала. Если бы вдруг и удалось закончить, единственным смыслом трудов явилось бы то, что вот этот опус был сотворен *вне* мира денег. Только не дописать; нет, никогда уже не дописать. Какое вдохновение при такой его жизни? Перед уходом из дома рукопись привычно совалась в карман, но лишь как знак, как символ поединка. С мечтой стать «литератором» Гордон простился. В конце концов, что здесь кроме сплошных амбиций? Уйти, уйти, спрятаться *ниже* всего этого! Пропасть в толпе теней, неуязвимых для страхов и надежд. На дно, на дно!

Однако и туда не так-то просто. Вечером, часов около девяти, он, по обыкновению, валялся на кровати, ноги под рваным покрывалом, озябшие руки под головой. Холодно, везде толстый слой пыли, скапустившийся, облетевший фикус сухой жердью в своем горшке. Приподняв ногу, Гордон оглядел носок – дыр больше, чем носка. Так вот он, Гордон Комсток, – на грязной койке в рваных носках, за душой полтора шиллинга, позади тридцать лет впустую. Ну что, докатился? До самого дна? И уже никто, ничто не вытащит. Хотел в грязь – получил сполна. Ну как, ты успокоился?

Однако и теперь не очень-то ему спокойно. Тот мир, хищный мир денег и успеха, всегда рядом.

Одним безденежьем, убогим бытом не спасешься. Когда узнал о готовом принять обратно «Альбионе», не только разозлился – сердечко-то ведь ёкнуло? Прямо в лицо дохнуло опасностью. Какое-нибудь письмо, телефонный звонок – и вмиг опять швырнет туда, где четыре фунта в неделю, усердная возня, благопристойность и подлое рабство. Попробуй-ка на деле провалиться к дьяволу. Застрянешь! Вся свора небесная рванется догонять, за шкирку тебя вытягивать.

В пристальном созерцании потолка мысли куда-то разбрелись, затуманились. Полная безнадежность окружавшей нищеты несколько успокоила. И тут в дверь тихо постучали. Не пошевелившись (видно, мамаше Микин приспичило что-то спросить), Гордон буркнул:

– Войдите.

Дверь открылась. Вошла Розмари.

Секунду, привыкая к шибанувшей в нос сладковатой затхлости, она стояла на пороге, и даже в свете еле коптящей лампы успела разглядеть этот хлев: заваленный бумагой и объедками стол, камин с горой золы и кучей грязных плошек, засохший фикус. Сняв шляпку, Розмари медленно приблизилась к кровати.

– Уютный уголок! – сказала она.

– Вернулась все-таки? – сказал он.

– Да.

Прикрывая глаза ладонью, Гордон слегка отвернулся.

– Пришла еще парочку лекций прочитать?

– Нет.

– А зачем?

– Затем...

Встав у постели на колени, она отвела с его лица ладонь, хотела было поцеловать, но удивленно отпрянула:

– Гордон!

– Что?

– У тебя седина!

– Где это?

– Прямо на макушке, целая прядка, это, наверно, совсем недавно.

– «Посеребрило мои кудри золотые», – равнодушно кинул он.

– Ну вот, оба седем, – вздохнула Розмари и наклонила голову, демонстрируя три свои белые волосинки.

Потом забралась на кровать, легла рядом и, обняв, стала целовать его. Он не сопротивлялся. Его не тянуло к Розмари (эта близость сейчас была бы совершенно ни к чему), но она сама скользнула под него, прижалась мягкой грудью, прихлынула тающим телом. По выражению ее лица он видел, что привело сюда невинную глупышку, – великодушие, чистейшее великодушие. Решила уступить, хоть так утешить нищего неудачника.

– Не могла не вернуться, – шепнула Розмари.

– Зачем?

– Так жутко было думать, что ты где-то там один-одинешенек.

– Напрасно. Лучше бы тебе меня забыть. Мы никогда не сможем пожениться.

– Ну и пускай. Любящим это безразлично. А я тебя люблю.

– Не слишком-то разумно.

– Ну и пускай. Нам давно надо было.

– Пожалуй, не стоит.

– Нет, стоит.

– Ну не будем.

– Будем!

Что ж, она одолела. Он так долго желал ее, что не смог отказаться, и это наконец произошло. Без дивных наслаждений, на несвежей койке в углу съемного чердака. Затем она встала и привела себя в порядок. Несмотря на духоту, пробирала зябкая сырость. Оба слегка дрожали. Укрыв лежащего лицом к стене Гордона, Розмари взяла его вяло расслабленную руку, потерлась о нее щекой. Он даже не шелохнулся. Тогда она, тихо прикрыв за собой дверь, на цыпочках пошла вниз по зловонной, замусоренной лестнице. Ей было грустно, беспокойно и очень холодно.

Весна, весна! Повеяло дыханием поры волшебной, когда оживает и расцветает мир! Когда потоком вешних струй смывает уныние зимы, красую нежной молодой листвы сияют рощи, зеленеют доли и меж душистых первоцветов кружат, ликуя, эльфы, а с ветвей несется звонкой птичьей перекличкой «тинь-тинь», «ку-ку», «чик-чирик», «фью-тю-тю»! Ну, и так далее (смотри любого поэта от бронзового века до 1805 года [26]).

Находится немало чудачков, которые все продолжают воспевать этот вздор в эпоху центральной отопительной системы и консервированных персиков. Хотя весна, осень – какая теперь разница цивилизованному человеку? В городах вроде Лондона смену сезонов, кроме показаний термометра, указывает лишь мусор на тротуаре. Конец зимы – топает по ошметкам капустных листьев, в июле под ногами – россыпь вишневых косточек, в ноябре – пепел фейерверков, к Рождеству – апельсиновые корки. Вот в старину для людей, просидевших месяцами в хижине на сухарях и солонине и дождавшихся свежего мяса и овощей, весенние восторги, конечно, имели смысл.

Гордон прихода весны не заметил. Март в Ламбете не напоминал о Персефоне. Дни стали подлиннее, донимали пыльные ветры, иногда в сереньком небе проблескивали лазурные дыры. При желании можно было, наверно, обнаружить даже почки на закопченных деревцах. Кстати, фикус мамы Микин все-таки выжил: листья с него опали, зато из ствола полезли рожки двух новых отростков.

Уже три месяца Гордон спокойно гнил в рутине приема-выдачи глупейших книжек. Товарные запасы разрослись до тысячи наименований, и заведение в неделю приносило фунт чистой прибыли. Хозяин был бы совершенно счастлив, если б не досадный просчет с помощником. Купив себе, так сказать, алкоголика, Чизмен с надеждой ждал, когда же тот напьется, прогуляет и даст повод себя оштрафовать. Однако этот Комсток регулярно являлся абсолютно трезвым. Как ни странно, к выпивке Гордона нисколько не тянуло. Даже от кружки пива он сейчас отказался бы в пользу чайной отравы. Все желания, претензии иссякли. На полтора фунта в неделю жилось проще, чем на два. Хватало почти в срок оплачивать жилье и кое-какую стирку, купить угля, сигарет, чая, хлеба и маргарина. Порой еще оставалось полшиллинга сходить в паршивую киношку по соседству. Рукопись он по привычке таскал с собой, но относительно «работы над поэмой» даже притворяться перестал. Вечера проходили однообразно: забраться к себе на чердак, затопить камин, глотать чай и читать, читать. Читом теперь служили воскресные газетки – «Синичка», «Шарады и кроссворды», «Шутник», «Домашние советы», «Девичий клуб». Кипы старых газет (среди них – двадцатилетней давности) достались Чизмену от дяди, использовались для упаковки, и Гордон брал их пачками, что попадется.

Розмари он давно не видел. После того ее визита она несколько раз писала, потом вдруг резко прекратила. Пришло письмо от Равелстона, просьба дать в «Антихрист» очерк о двухпенсовых библиотеках. Джулия кратко сообщила о семейных новостях: у тети Энджелы всю зиму страшно дуло, у дяди Уолтера, по-видимому, камни в мочевом пузыре. Никому Гордон не ответил и вообще мечтал забыть их всех. Только мешают изъятием своей привязанности. Дергают, не дают вольно дремать в болотной тине.

Очередной рабочий день. Принимая от рябоватой, с волосами как пакля фабричной девушки прочитанную книгу, Гордон мельком заметил возле входа еще какую-то фигуру.

– Что вы хотите почитать?

– Это... – замялась девушка у стола, – ну, про любовь как бы.

Он повернулся достать с полки «про любовь», и сердце застучало – возле двери стояла Розмари. Бледная, необычно понурая. Молча и как-то напряженно ждала.

Руки его так тряслись, что запись в карточке осталась невнятным зигзагом. Штамп он поставил не туда. Рябая девушка пошла к выходу, сразу уткнувшись в растрепанную книжку. Розмари пристально смотрела на него. Давно она не видела Гордона при дневном свете. Как изменился! Вконец обносившийся, лицо осунулось, прибавило землистую бесцветность живущих на хлебе с маргарином, с виду не тридцать, а скорее сорок. У самой Розмари вид тоже был не блестящий, и одета она была как будто наспех, без привычной ее щеголеватой аккуратности.

– Не ожидал тебя увидеть, – начал он.

– Мне необходимо было прийти. Я в перерыв отпросилась, сказала, что неважно себя чувствую.

– Да, ты такая бледная. Садись.

Имелся лишь один стул, Гордон учтиво принес его. Она не села, но взялась за спинку стула. По движению судорожно сжатых пальцев видно было, как она нервничает.

– Гордон, так я и знала – ужас!

– Что случилось?

– У меня будет ребенок.

– Ребенок! О, черт!

Задохнувшись, будто ему саданули под ребра, Гордон промямлил обычный идиотский вопрос:

– Ты уверена?

– Абсолютно. Что я пережила! Надеюсь, конечно, как-нибудь обойдется, глотала всякие пилюли. Ох, свинство!

– Господи, что за кретины! Как будто могло выйти по-другому!

– Что ж, я сама виновата, я...

– Черт! Идет кто-то.

Появилась сопящая веснушчатая толстуха, сварливо потребовала «чтобы с убийствами». Розмари, опустив глаза, скручивала-раскручивала на коленях свою перчатку. Толстуха капризничала. Что ни предложи, поджимала губы, отвергая «читала уж!» или «чего-то не то!». У сраженного новостью Гордона кололо сердце и внутри все сжималось, но надо было доставать книжку за книжкой, уверяя жирную дуру, что это как раз «то». Наконец удалось ее спровадить, дверь со звоном захлопнулась, и он вернулся к Розмари.

– Ладно, что делать, будь оно проклято?

– Не знаю. Меня, конечно, уволят. Но я не из-за этого с ума схожу. Как мне теперь своим на глаза показаться? Маме! Подумать страшно.

– Ах да, твои! Еще эта родня чертова!

– Мои – люди нормальные. И ко мне относились всегда прекрасно.

Но когда вот такое, все, наверно, как-то иначе.

Гордон нервно ходил туда-сюда. Голова пылала. Мысль о ребенке, растущем в ее животе его ребенке, отзывалась только диким страхом, кошмаром внезапно грянувшей беды. И уже ясно, куда это ведет.

– Мы должны пожениться, – сухо сказал он.

– «Должны»? Как будто я за этим сюда пришла.

– Но ты же хочешь, чтоб я женился на тебе?

– Нет, если *ты* не хочешь. Зная твои взгляды, навязываться я не собираюсь. Сам решай.

– А что, есть выбор?

– Вот это и надо обсудить. Можно ведь по-другому.

– Как еще?

– Ну, известно как. Одна моя коллега дала адрес. Ее знакомый врач сделает всего за пять фунтов.

Гордон вздрогнул. До него вдруг дошло, о чем они толкуют. «Ребенок»! Крохотный живой зародыш, растущий там, в ее утробе. Глаза их встретились, и промелькнул момент какой-то небывалой близости. Как будто их самих тайно связала невидимая пуповина. Нельзя, почувствовал Гордон, нельзя *по-другому*! Это будет, ну, святотатство, что ли. Кроме того, гнуснейшая деталька насчет пяти фунтов... Он мотнул головой:

– Без паники! Такую мерзость нельзя делать ни в коем случае.

– Мерзость-то мерзость, но я не могу без мужа завести ребенка.

– Ну, значит, будет тебе муж. Да я скорей дам руку себе отрубить, чем позволю тебе идти к...

Дзинь! Ввалилась компания: два прыщеватых олуха в дешевом ярком тряпье и хихикающая девчонка. Один из парней с некой развязной робостью спросил «че-нибудь такого, погорячей!». Гордон молча указал им на полки под табличкой «эротика». Несколько сотен книжек – названия типа «Тайны ночного Парижа» или «Тот, кому она верила», на замусоленных обложках распростерты полуголые красотки и стоящие рядом джентльмены в смокингах. Сами тексты, впрочем, были вполне невинны. Пока юнцы, перебирая книжки, шушукались и прыскали, а девчонка, жеманясь, повизгивала, Гордон злобно пялился в окно. Наконец болваны ушли.

Подойдя к Розмари, обняв сзади ее крепкие плечики, он положил ладонь ей на грудь. Приятно было ощущать упругость теплого тела, сознавая, что где-то глубоко внутри из его семени вызревает младенец. Она нежно погладила его руку, но не произнесла ни слова. Ждала.

– В качестве твоего супруга, – задумчиво сказал он, – я обязан обрести респектабельность.

– А ты способен? – возвращаясь к прежней своей шутливости, откликнулась она.

– Надо, разумеется, пойти на приличную службу. Вернусь в «Альбион». Возьмут, думаю.

Она чуть заметно встrepенулась. Очень надеялась услышать это, но, верная честной игре, не стала ни давить, ни прыгать от восторга.

– Я не прошу тебя идти туда, тут поступай как знаешь. Чтобы женился – да, хочу, из-за ребенка. А содержать меня не обязательно.

– Вот как? Что ж, предположим, я женюсь такой – нищий и неустроенный, и как ты будешь?

– Как-нибудь. Буду работать, сколько можно, а когда станет уже заметно, уеду, наверно, опять к родителям.

– Веселенькая будет встреча! Ты ж так мечтала, чтобы я вернулся в «Альбион»? Что, передумала?

– Отчасти. Ты, я знаю, ненавидишь всю эту служебную канитель. И винить тебя не хочу, у каждого своя жизнь.

Гордон помолчал.

– Итак, – после паузы заключил он, – все сводится к тому, что либо я женюсь и снова в «Альбион», либо ты идешь к мерзкому лекарю и он тебя кромсает.

Прямолинейность его слишком беспощадно обрисовала ситуацию. Розмари вскочила:

– Зачем ты так?

– Ну, так уж есть.

– Я совсем не для этого пришла, просто хотела ясности. А теперь вышло, что явилась играть на твоих чувствах, угрожая избавиться от ребенка. Какой-то свинский шантаж!

– Да не подозреваю я тебя в коварстве. Изложил факты, вот и все.

На лицо ее набежали морщины, брови нахмурились, но она поклялась себе держаться, не устраивать сцен. Родноу Гордон никогда не видел, однако нетрудно представить, как она возвращается в свой городок с незаконным младенцем или, что ненамного лучше, замужем за супругом, неспособным кормить семью. Глядя вниз, Розмари готовилась принять *честное* решение.

– Ладно, нечего на тебя взваливать. В общем, хочешь – женись, не хочешь – не женись. Я все равно оставлю этого ребенка.

– Оставишь? Правда?

– Я решила.

Он обнял, прижал ее. Пальто Розмари было расстегнуто, и тело дышало такой нежностью.

Гордон вздохнул – он будет последним из кретинов, если даст ей уйти. Выбор? Держа ее в объятиях, ясно виделось – альтернативы невозможны.

– Сознайся, хочешь ведь, чтоб я вернулся в «Альбион»?

– Нет. Только если сам захочешь.

– Хочешь, хочешь! Естественно! Мечтаешь увидеть меня наконец во всем блеске солидности: на «хорошем месте», с четырьмя фунтами в неделю, с фикусом на окошке? А, мечтаешь?

– Ну хорошо – мечтаю! *Хотела бы* так, но совершенно не хочу *принуждать*. Мне тогда будет просто ужасно. Ты должен быть свободным.

– Абсолютно?

– Да.

– Понимаешь, о чем говоришь? Вот, может, уеду и брошу тебя с младенцем.

– Бросишь так бросишь. Ты свободен.

Вскоре она ушла. Предполагалось завтра встретиться для окончательных решений. Гордон остался размышлять. Полной уверенности в «Альбионе», конечно, нет, но, с другой стороны, если сам Эрскин

обещал... Сосредоточиться не удавалось, клиенты осаждали как никогда. Только присядешь, очередная настырная бестолочь жаждет «эотику», «криминал», «любовную драму». Часов в шесть Гордон вдруг решительно погасил свет, вышел и запер дверь. Необходимо было побыть одному. Чизмен узнает – придет в ярость, может быть, даже выгонит. И хрен с ним!

Гордон пошел по Ламбет. Тихие сумерки, слякоть, тусклые фонари, крики лоточников. На ходу лучше думалось. Но как же, как? Или в «Альбион», или бросить Розмари – ничего другого. Тешить себя надеждами на «хорошее», но не столь гнусное место, напрасно. Кому нужны немолодые потрепанные типы? «Альбион» – единственный шанс.

На углу перед Вестминстерским мостом красовался ряд мертвенно-бледных в неоновом свете плакатов. Один, огромный, трехметровый, рекламировал Порошковый Супербульон. Фирма-производитель явно расцвела, раскошелившись на новый образ с целой серией четверостиший. Вместо «вкушающего наслаждение» придурка теперь радостно и нагло пиялилось семейство чудищ из розового сала, а ниже было начертано:

Надоело быть больным,
Слабым, нерешительным?
Силы даст СУПЕРБУЛЬОН
Питательно-живительный!

Гордон смотрел как замороженный. Немыслимо! Дичь какая, «питательно-живительный»... И как бездарно, натужно, полуграмотно! Но нечто грозно устрашающее, если представить, что эта муть по всему Лондону, по всей Англии травит людям мозги. Он кинул взгляд вдоль безобразно тоскливой улицы – да, если всюду эти «супербульоны», войны не избежать. Мигание светящейся рекламы предвестием огненных взрывов. Гул артиллерии, тучи бомбардировщиков – бабах! И вся наша цивилизация к черту, куда ей и дорога.

Перейдя улицу и повернув обратно, он, однако, поймал себя на странном ощущении: ему больше не хотелось войны. Впервые за многие месяцы, даже годы – не хотелось.

Вот возьмут в «Альбион», так скоро, может, самому придется сочинять дифирамбы порошковому бульону. Опять *туда*! Любое «хорошее место» тошнотворно, но заниматься *этим*! Господи! Нет, *туда* невозможно. Он должен отстоять себя! А Розмари? В отцовском доме, с младенцем, ужасая родичей каким-то своим мужем, который не может заработать ни гроша. Хором будут пилить ее. А их ребенок?.. Хитер Бизнес-бог! Если б ловил только на всякие такие штучки, как яхты, лимузины, шлюхи, шампанское, но доберется ведь до самой потаенной твоей чести-совести, а тут куда денешься – опрокинет тебя на лопатки.

В голове неотвязно брякали стишки «супербульона». Набраться духа и держаться, до конца *бороться* против денег! Умел же как-то до сих пор. Перед глазами Гордона пробежали картинки его жизни. Честно сказать, дрянная жизнь – радости нет, толку нет; ничего не достигнуто, кроме нищеты. Однако сам так выбрал, сам хотел, даже сейчас *хотел* вниз, в яму, где деньги уже не властны. Этот ребенок все перевернул. Хотя, в конце концов, ну что случилось? Рядовая передрыга. Нравственность общества, греховность особей – дилемма, старая как мир.

Гордон заметил вывеску муниципальной библиотеки, мелькнула мысль: этот младенец, а что он, собственно, сейчас такое? Что там, у Розмари в утробе? Можно, наверно, выяснить в специальной медицинской литературе. Он вошел.

В отделе выдачи книг за барьером восседала недавно кончившая университет блеклая, крайне неприятная особа в очках. Насчет всех посетителей (по крайней мере мужского пола) у нее имелось твердое подозрение: ищут порнографию. Сверлящий взгляд сквозь холодные круглые стеклышки мгновенно разоблачал тайные умыслы развратника. И никакие ухищрения не помогали скрыть порок, ведь даже толковый словарь можно листать, отыскивая *эти самые* словечки...

Поглощенному своими проблемами Гордону было не до подозрений библиотекари.

– Будьте добры, есть что-нибудь по гинекологии?

– По *какой* теме, повторите? – победно сверкнули стеклышки очков (еще один любитель гнусностей!).

– Ну, что-нибудь по акушерству. Внутриутробное развитие и прочее.

– Такого рода литература выдается только специалистам, – ледяным тоном отрезала многомудрая дева.

- Простите, мне очень важно посмотреть.
- Вы студент-медик?
- Нет.
- Тогда я *совершенно* не понимаю причин интересоваться *этим* разделом медицины.

«Вот зараза!» – чертыхнулся про себя Гордон. Но робости, что прежде непременно сковала бы в подобном случае, не ощутил, терпеливо настаивая:

– Видите ли, в чем дело: мы с женой собираемся завести ребенка, а знаний о беременности маловато. Надеемся, научные руководства что-то подскажут.

Дева не поверила (этот непрезентабельный субъект – молодой человек?), однако при исполнении служебных функций редко удавалось отшить публику, разве что очень юную. Так что в итоге все-таки пришлось сопроводить клиента к столу и выложить перед ним пару увесистых коричневых томов. Хотя лучи бдительной оптики из-за барьера продолжали неустанно сверлить затылок Гордона.

Он наугад раскрыл верхний том – джунгли убористого текста, густо испещренного латынью. Ни черта не понять. Где тут иллюстрации? Между прочим, сколько уже: месяца полтора, побольше? Ага, рисунок.

Девятинедельный плод неприятно поразил уродством. В профиль свернулась какая-то жалкость, с малюсеньким тельцем под огромной купольной головой, посреди которой лишь крошечная кнопка уха. Поджатые паучьи ножки, бескостная тонюсенькая ручка прикрыла (и, надо полагать, правильно сделала) лицо. Нечто невзрачно-странное и все-таки уже карикатурно похожее на человечка. Гордону раньше эмбрионы представлялись вроде разбухшей лягушачьей икры. Хотя, наверно, еще совсем небольшой? Так, «рост тридцать миллиметров». Размером со сливу.

А если раньше? Он полистал назад, нашел рисунок шестинедельного зародыша. Ух, просто жуть! Ну почему начало и конец у человека физически столь безобразны? Человеческое здесь еще не проступило – что-то дохленькое, голова повисла вялым пузырем, даже лица нет, одна черточка-морщинка, намечающая то ли глаз, то ли рот, и вместо рук пока коротенькие ласты. «Рост пятнадцать миллиметров», с лесной орех.

Задумавшись, он долго просидел над этими рисунками. Подробности уродства давали особую реальность тому, что вдруг образовалось внутри Розмари. Случайно, по неосторожности зачатый и вспухший уже со сливу комочек плоти, чье дальнейшее существование зависит сейчас от него, Гордона. И ведь растет комочек уже какой-то собственной, отдельной жизнью. Скроешься тут, улизнешь?

Надо решать. Гордон вернул книги очкастой гидре и медленно пошел к выходу, но внезапно, даже не осознав зачем, резко свернул в общий читальный зал. У длинных столов, как обычно, дремала масса всякой с утра набивавшейся бездомной или неприкаянной шушеры. Один стол был целиком отдан периодическим изданиям для женщин. Взяв первое лежавшее у края, Гордон присел в сторонке и раскрыл.

Американский журнал из тех, что адресуются домохозяйкам, содержал главным образом рекламу, а также несколько душещипательных историй, где воспевались те же прелести. *Какие!* Глянцевый калейдоскоп белья, косметики, шелковых чулок, ювелирных гарнитуров; страница за страницей: помада, кружевные трусики, лосьон, консервы, пилюли для похудения – мир денег во всей красе. Панорама дикости, жадности, распушенности, пошлого снобизма и слабоумия.

Сюда его хотят загнать? *Здесь* ему светит счастье? Листая чуть медленнее, он пробежал глазами подписи под картинками: «Нет обаяния без улыбки, нет улыбки без зубной пасты ДОЛЛИ» – «...не стоит, детка, гробить жизнь на кухне; просто открой банку, и твой обед готов!» – «...вы еще позволяете мозолям угнетать вашу личность?» – «Сверхупругие матрасы ВОЛШЕБНЫЙ СОН» – «АЛКОЛАЙЗ миглом укрощает бурю в желудке!» – «Всякий назавтра сможет цитировать Данте, приобретя всемирно знаменитый Карманный КУЛЬТСЛОВАРЬ».

Дерьмо чертово!

Разумеется, печатное изделие американцев, лидеров во всех видах безобразия, будь то мороженое с содовой, рэкет или теософия. Гордон сходил, принес с того же стола английский журнал – надо надеяться, не столь тупо и агрессивно («не станет никогда рабом британец!» [27]). Так, поглядим. Так, так.

«Верните талии былую стройность!» – «... у входа в его особняк она подумала: “Ах, милый мальчик, моложе на двадцать лет, свою сверстницу бросил и так безумно влюблен в меня!”» – «Быстрое исцеление от геморроя» – «Дивная нега полотенец МОРСКОЙ БРИЗ» – «...всего неделю наносила этот крем, и на щеках вновь заиграл школьный румянец» – «Красивое белье – это уверенность!» – «ГОТОВЫЙ ХРУСТЯЩИЙ ЗАВТРАК: детишки утром требуют хрустяшек!» – «С плиткой «ВИТОЛАТА» бодрость на целый день!»

Опять вертеться в *этом*! Быть частью всего вот *этого* ! О Боже, Боже, Боже!

Гордон вышел на улицу. Хуже всего, что выбор сделан, сознание смирилось, давно смирилось; колебания были лишь играми с самим собой. Неодолимо мощная стихия тащит, диктует. Он нашел телефонную будку (успела Розмари вернуться к себе в общежитие?), выудил из кармана монетку – как раз два пенса, сунул в щель, набрал номер.

– Але, слушаю! – недовольно прогнусавил женский голос.

Он нажал кнопку соединения. Жребий брошен.

– Будьте добры, можно поговорить с мисс Ватерлоо?

– А кто звонит-то?

– Скажите ей, это мистер Комсток. Она дома?

– Ну, погодите; схожу, гляну.

Пауза.

– Алло? Гордон, ты?

– Алло, алло, Розмари? Я только хотел сказать тебе, что, в общем, все решил.

– О... – Несколько секунд она молчала, затем слегка дрогнувшим голосом спросила: – Так, и что же?

– Нормально, схожу к ним, наймусь, если возьмут.

– Ой, Гордон, здорово! Ой, как я рада! А ты не сердись? Не злишься, что это я тебя заставила?

– Да все в порядке. Я подумал тут, ну правда, надо хватать эту службу. Завтра схожу в контору.

– Как я рада!

– Будем надеяться, старик Эрскин не наболтал и мне дадут место.

– Конечно же, конечно! Только одно, милый, ты ведь оденешься прилично, да? Это всегда так важно.

– Ясно. Займу денег у Равелстона, выкуплю выходной костюм.

– Не надо ничего занимать, у меня отложено четыре фунта. Я сейчас побегу, еще успею отправить тебе телеграфом. Но обязательно купи ботинки новые и новый галстук, слышишь? И Гордон, умоляю тебя!

– Что?

– Наденешь шляпу, хорошо? Без шляпы в офис как-то неудобно.

– Черт! Года два не нахлобучивал. Что, непременно надо?

– Ну, без шляпы вид такой, знаешь, несолидный.

– Ладно, раз надо, напялю хоть котелок.

– Нет-нет, обычную мягкую шляпу. И ты, милый, успеешь ведь подстричься?

– Будь спокойна. Предстану в лучшем виде: аккуратен, туповат, деловит.

– Милый, спасибо тебе, я так счастлива. Но надо срочно бежать, успеть деньги тебе отправить. Спокойной ночи, дорогой! Удачи!

– Спокойной ночи.

Гордон выскочил из будки. Что натворил? Слизняк! Продал все, изменил своей присяге!

Долгую одинокую битву в момент закончил полной сдачей. Верую, Господи, клятвой в верности обрезаю плоть свою. Падаю ниц, каюсь и повинуюсь. Он шел с какой-то новой энергией. Что-то странное будоражило душу, струилось по всем жилам. Что? Унижение, стыд, отчаяние? Гнев, оттого что снова придется пресмыкаться перед деньгами? Тоска из-за бесконечной рутины впереди? Он напрягся, пытаясь уловить, выяснить новое непонятное чувство. И понял – стало легче.

Да, легче. Облегчение, освобождение, конец нищете, грязи и одиночеству, можно вернуться к нормальной жизни. А все гордые клятвы – позади, кучкой сброшенных наконец цепей. Так и должно было случиться, просто судьба взяла свое. Вспомнилось сочувствие на тугом румянном лице Эрскина, когда тот на прощание не советовал бросаться «хорошим местом», и свое возмущенно кипевшее внутри «Нет! Ни за что на свете!». Даже тогда уже угадывался нынешний финал. Розмари с младенцем в утробе только повод, только предлог. Не будь этого, подвернулось бы, толкнуло что-то другое. Вышло так, как втайне, сокровенно желалось самому.

Что ж, очевидно, слишком сильно бурлят жизненные соки, чтобы презреть обыденность и добровольно изъять себя из потока реальности. Два тяжких года проклинал мир денег, сражался с ним, скрывался от него, и в результате – нищета, а вместе с ней пустота, тупик. От денег отрекаешься? Отрекись заодно и от жизни. Но не тобой назначены земные сроки, не ты решаешь... Завтра явится он в «Альбион», подстриженный и свежевыбритый, солидный (не забыть бы кроме костюма пальто выкупить!), в шляпе скромной конторской гусеницы, ни следа лохматого поэта, вольно плюющего на рваные подметки. Возьмут, чего ж не взять такого, да еще с нужными фирме талантами. Готов, готов продать душу и усердно трудиться.

Дальше? Возможно, весь этот двухлетний бунт просто сотрется в памяти. Ну, некая задержка, легкая заминка в карьере. Быстренько привыкнет цинично щуриться, не думать дальше прямой выгоды, строчить баллады во славу чипсов. Так честно, праведно продаст душу, что искренне забудет свой мятеж против тирании Бизнес-бога. Женится и устроится, обретет достаток с соответствующим набором занятий: стричь лужайку, катать колясочку, слушать концерт по радио, взирать на фикус. Станет достойным, уважающим порядок солдатиком огромной армии, которую качает в метро утром на службу, вечером домой. Может быть, это даже хорошо.

Шаг его сделался спокойнее, ровней. Тридцатилетнему, с первой сединой, ему казалось, что он начинает взрослеть. Обычная история, кто в юности не бунтовал против лжи и несправедливости? Его бунт длился чуть подольше. Завершившись, однако, столь плачевно! Интересно, сколько отшельников в утрюмых норах втайне мечтали бы вернуться к пошлой суете? Впрочем, наверно, есть и те, кто не мечтают. Кем-то неплохо сказано, что в нашем мире выживает только святой или мерзавец. Гордон Комсток не святой. Тогда, пожалуй, лучше он будет скромным мерзавцем, без претензий. Пришел туда, куда хотел, сдался своим же потаенным желаниям и успокоился.

Гордон вскинул глаза – улица где-то рядом с его жильем, но незнакомая. Унылые, облезлые дома, по преимуществу из однокомнатных квартирок. Закопченный кирпич, оградки, беленые крылечки, в окнах портьеры с бахромой, частенько между ними билетики «сдается», почти везде фикусы. Стандарт жалкой благопристойности. В общем, улочка того сорта, что совсем недавно страстно грезилось разбабахать к чертовой матери.

Здесьние жильцы – клерки, продавцы, мелкие торговцы, страховые агенты, вагоновожатые, – знают они, что их, марионеток, непрерывно водят за ниточки? Нет, ничего они не знают. Не до того, столько насущных забот: родиться, жениться, плодить детишек, вкалывать, умирать. Может, и не так уж плохо раствориться среди них? Пусть вся наша цивилизация основана на жадности и страхе, но в частной жизни рядовых обывателей это загадочно преобразуется в нечто пристойное. За своими нарядно обшитыми шторками, со своей ребятней и лаковой фанерной мебелью, принимая и добродетельно чтя кодекс денег, вот эти самые низы среднего класса все-таки ухитряются блюсти приличия. Как-то умеют перетолковать скотский рабовладельческий устав в понятия личной чести. И держать фикус для них значит «держаться достойно». Кроме того, они *живучие*. Плетут саму вязь жизни. Делают то, что недоступно ни святым, ни возвышенным душам, – рожают детей.

А фикус – просто-таки древо жизни, пришло вдруг в голову.

Карман оттягивала рукопись. Гордон достал пачку свернутых, мятых, истрепавшихся по краям листов. Всего четыре сотни строк, плод добровольного двухлетнего изгнания, жалкий недоносок. Ладно, покончено. Поэма! Еще чего, стихи в 1935-м!

Куда ж это теперь? Самое правильное – порвать, в унитаз спустить. Но снова запихивать в карман, тащить до дома... Ага, решетка над уличным стоком. С ближайшего окна из-под волана шелковой желтой занавески поглядывал красавец фикус.

Гордон отогнул страницу «Прелестей Лондона», в чернильном хаосе мелькнула лихорадочно записанная строчка. Сердце сжалось. Кое-что было вроде не совсем ужасно. Если б только когда-нибудь закончить! Столько вбито сюда и разом малодушно выкинуть? Оставить? Спрятать, урывками потихоньку работать, пытаться довести? Что-то, может, и выйдет.

Ну нет! Не виляй! Сдаваться, так сдаваться.

Он сложил пачку пополам и пропихнул сквозь решетку. Шлепнувшись, хлопнув, рукопись исчезла под водой.

Vicisti, ficus! Ликуй, Фикус, ты победил!

У выхода из бюро регистрации Равелстон начал прощаться, но они ничего и слышать не хотели, настояли вместе позавтракать. Однако уж не в «Модильяни» – в одном из милых рестораничков Сохо, где

замечательно кормят «четыре блюда за полкроны» и где их угостили чесночной колбасой, бифштексом с жареной картошкой, слегка водянистым сладким пудингом, а также красным «Мэдок-экстра», бутылка за три шиллинга.

Гостем на свадьбе был один Равелстон (роль второго свидетеля исполнил кроткий беззубый старикан, карауливший возле бюро, вознагражденный парой шиллингов). Джулия не смогла покинуть рабочий пост в кафе. Самим молодоженам удалось задолго, под разными предлогами, отпроситься со службы на денек. За исключением Джулии и Равелстона никто о регистрации не знал. Розмари собиралась еще месяца два поработать, родным же пока ничего не сообщала, чтобы не вынуждать бесчисленных сестер и братьев тратить на подарки. Воображая некий торжественный ритуал, Гордон вначале хотел даже венчаться в церкви, однако Розмари строго пресекла полет его фантазии.

Уже второй месяц Гордон трудился в «Альбионе». Определили ему недельные четыре фунта десять шиллингов. Как только Розмари уволится, станет, конечно, туговато. Но затеплились надежды на повышение в будущем году. Да и родители Розмари, надо полагать, подкинут денег по случаю рождения внука (внучки).

Бывший шеф Гордона, мистер Клу, недавно уволился, место его занял мистер Уорнер, канадец с пятилетним опытом работы в нью-йоркской рекламной фирме. Новый шеф был кипучим энтузиастом; впрочем, довольно симпатичным. Сейчас для них с Гордоном наступило горячее время. Покорив страну дезодорантом «Апрельская роса», «Царица гигиены и красоты» задумала теперь бросить на рынок зубной эликсир, устраняющий запах изо рта. Образ заставил текстотворцев изрядно поломать голову и уже почти сложился, когда у руководства «Царицы гигиены» блеснула новая идея – а запах от потных ног? Непаханое поле с широчайшей, гигантской перспективой! Требовался некий убойный слоган, нечто на уровне «чуда ночного голодания»; что-то, вонзавшееся в мозг отравленной стрелой. Три дня мистер Уорнер просидел, мрачно, сосредоточенно уставясь в одну точку, а затем выдал гениальное «По-По». Сокращенное «порный пот», так кратко и так властно – напал! Узнавшему, что означает «По-По», уже нельзя было взглянуть на эти буквы без виноватой дрожи. Правда, Гордон забеспокоился, не обнаружив в словарях прилагательного «порный», но мистер Уорнер отмахнулся: «Есть – нет, хрен с ним, сожрут!» Ну а «Царица гигиены», естественно, пришла в восторг.

Денег не пожалели. По всей территории Британских островов огромные рекламные щиты теперь мощно вбивали в головы «По-По». Везде лишь жесткая шрифтовая лапидарность:

...

«По-По»

Как с этим у

ТЕБЯ?

Одна фраза, и никаких картинок, никаких пояснений. К этому времени любой в Англии знал, что такое «По-По». Мистер Уорнер намечал сюжеты, стиль оформления, а Гордон писал конкретные тексты для газет и журналов. Горестные истории, романы в сотню слов о девушках, стареющих без женихов, о безнадежно одиноких холостяках, о страдалцах, не имеющих денег на ежедневную новую пару чулок и потому обреченных увидеть мужа в объятиях «другой женщины». Сочинял Гордон прекрасно, лучше, чем что-либо когда-либо. Мистер Уорнер на каждом совещании хвалил его. В умении писать сжато и выразительно сказались годы упорных трудов Гордона над словом. Так что муки за право стать «писателем» все-таки не пропали даром.

После свадебного завтрака, простившись с Равелстоном, они сели в такси – машину до ресторана брал Равелстон, поэтому решили позволить себе и обратно на авто. Слегка разомлевшие от вина, ехали, любовались в окно солнечным пыльным маем. Голова Розмари лежала на плече Гордона, его рука играла тоненьким обручальным колечком на ее пальце (конечно, позолота, цена пять шиллингов, но вид просто отличный).

- Не забыть снять кольцо завтра перед работой, – напомнила себе Розмари.
- Надо же, впрямь женаты! Все, супруги навек, «пока смерть не разлучит вас».
- Даже страшновато, да?
- Ну, справимся как-нибудь. Заведем свой домик, с колыбелькой, с фикусом.

Он приподнял, поцеловал ее лицо. Сегодня она впервые чуточку и не слишком удачно подкрасилась. Вообще, лица молодоженов на ярком свете юностью не сияли. Милые морщинки у Розмари, борозды на щеках Гордона, ей явно под тридцать, а ему с виду так все тридцать пять.

Но свои три белые волосинки Розмари накануне вырвала.

- Ты меня любишь? – спросил он.
- Обожаю, глупый.
- Похоже, правда. Хотя за что такую облезлую образину?
- Мне нравится.

Они потянулись поцеловаться, но в испуге отпрянули, так как из окна поравнявшегося лимузина на них оскорбленно уставились две сухопарые ехидны.

Квартирка на Эджвер-роуд была довольно милой. Квартал, правда, угрюмый, зато близко от центра и тихо – улочка тупиковая. Этаж последний, из заднего окна вид на строения Пэддингтонского вокзала. Спальня, гостиная, кухонька, ванна (душ), клозет. Двадцать один шиллинг в неделю, без мебели. Уже кое-какая обстановка. Равелстон, чрезвычайно кстати, подарил полный набор посуды. Джулия – некий кошмарный «столик» с ореховой фанеровкой и сколотым краем. Как Гордон умолял ее ничего не покупать! Бедняга Джулия, кошелек ее, конечно, сильно тряхнуло перед Рождеством, к тому же в марте был день рождения тети Энджелы. Но разве могла она не сделать солидный подарок к свадьбе? Бог знает, чего ей стоило выложить тридцать бобов за это столярное диво. Маловато пока белья и столовых приборов, но постепенно, откладывая деньги, подкупят.

Последний лестничный марш они одолели чуть не вприпрыжку. К себе! Десятки вечеров ушли на обустройство. Так интересно было занять свое жилье. Ведь даже собственной кровати до сих пор ни у нее, ни у него не бывало; после родительского дома – только съемные меблированные комнатки. Войдя, они неспешно прогулялись по апартаментам, внимательно и восхищенно осматривая всякую деталь. Двойная кровать с розовым стеганым одеялом! В комодке стопки простыней и полотенец! Раздвижной стол, четыре жестких стула, диван, два кресла, книжный шкаф, индийский коврик и так удачно купленное на барахолке медное ведро для угля! И все свое, каждая тряпка, деревяшка (по крайней мере пока взносы платятся вовремя). Они вошли в кухоньку. Изумительно, все есть: и холодильник, и плита, и столик с эмалированной крышечкой, сушилка для посуды, кастрюли, чайник, продуктовая корзинка, даже коробка мыльных хлопьев, даже банка стиральной соды – хоть сейчас начинать хлопотать. Держась за руки, они стали у окна любоваться Пэддингтонским вокзалом.

– Ох, милый, что за счастье – у себя! И никаких хозяек!

– А мне больше всего нравится, что мы будем теперь завтракать вместе. Столько знакомы, а ведь никогда вдвоем не завтракали. Представляешь, я сижу, а напротив ты, кофе мне наливаешь?

– Так давай прямо сейчас, а? Я умираю от желания погромыхать этими плошками.

Она сварила кофе и на лаковом подносе (тоже необыкновенно удачная покупка на распродаже) принесла в гостиную. Взяв чашечку, Гордон прошел к окну. Улица далеко внизу расплывалась в солнечном мареве, будто затопленная ласковым золотым морем. Гордон опустил допитую чашку на столик рядом:

– Вот сюда мы поставим фикус.

– Что мы сюда поставим?

– Фикус.

Она расхохоталась. Видя, что слова его всерьез не восприняты, он добавил:

– Надо пойти и заказать, пока цветочный магазин открыт.

– Гордон, ты что? Какой фикус?

– Обыкновенный. Будем за ним ухаживать; говорят, листья лучше всего протирать мягкой суконкой.

Розмари схватила его за руку, вглядываясь в лицо:

– Шутка?

– С какой стати?

– Фикус! Эту корягу жуткую! Да и куда его? Тут ни за что не поставлю, а в спальне тем более. Спальня с фикусом, бред!

– В спальню не надо. Его место здесь, у окна в гостиной, чтобы все люди из дома напротив любовались.

– Смеешься? Ну конечно, смеешься надо мной!

– Вполне серьезно. Говорю тебе, нам нужен фикус.

– Но зачем?

- Должен быть. Первое, чем положено обзаводиться новой семье. Часть свадебного ритуала.
- Не городи ерунды! Фикусов я не желаю. Ну, в крайнем случае купи герань.
- Герань не то. Необходим именно фикус.
- Только не нам, у нас такой пошлости не появится.
- Появится. Ты разве не дала обет во всем быть мне послушной?
- Нисколько, мы перед алтарем не стояли.
- Все равно, брак подразумевает это церковное «любить до гроба и во всем повиноваться».
- Во-первых, не так, а во-вторых, фикуса здесь не будет.
- Непременно будет.
- Не будет, Гордон!
- Будет.
- Нет!
- Да.
- Нет!

Она не понимала, ей казалось, он просто дразнит. Оба вспыхнули, началась обычная их перепалка. Первая супружеская стычка. Минут через двадцать они отправились покупать фикус.

Но только спустились на несколько ступенек, Розмари замерла, схватившись за перила. Приоткрыв губы, прислушалась:

- Гордон!
- А?
- Шевельнулось.
- Что?
- Ребенок. Он шевельнулся.
- Правда?

Под ребрами у Гордона пробежал холодок сладкой жути. Голова на миг закружилась от страстно вожделеющего, но необычайно нежного порыва. Встав на колени, он ухом прижался к ее животу.

- Ничего не слышу, – вздохнул он наконец.
- Конечно, дурачок. Еще рано.
- Но я потом услышу?
- Наверно. Мне-то и сейчас слышно, а тебе, видимо, месяца через три.
- И ты почувствовала – шевельнулся? Точно? Уверена?
- О да! – погладила она его прижатую голову.

Долго еще он простоял на коленях, слыша, правда, лишь пульс, стучащий в собственном ухе. Но ошибиться она не могла. Значит, дремавшее в укромной теплой тьме существо это ожило и заворчалось.

В общем, кое-что новенькое все-таки случилось в семействе Комстоков.

Примечания

1

Оруэлл саркастически переиначивает гл. 13 Первого послания к Коринфянам, заменяя в тексте слово «любовь» на слово «деньги». – *Здесь и далее примеч. пер.*

2

Дэлл, Этель (1881–1933) – английская писательница, автор популярной («дамской») беллетристики.

3

Дипинг, Уорвик (1877–1950) – английский писатель, автор приключенческих и детективных романов.

4

Уолпол, Хью (1884–1941) – английский писатель натуралистической школы.

5

«Год жизни шел тогда тридцатый» (*фр.*). Начальная строка поэмы Франсуа Вийона «Большое завещание».

6

То – Скука! – Облаком своей houка одета,

Она, тоскуя, ждет, чтоб эшафот возник.

III. Бодлер. Цветы зла. (Перевод Элиса.)

7

Барри, Джеймс Мэтью (1860–1937), шотландский писатель, автор сказочной повести «Питер Пэн».

8

Роман Роберта Тресселла (1870–1911).

9

Рэкхем, Артур (1867–1939) – график, автор чрезвычайно изысканных иллюстраций к сериям сказок Барри и Рэнсома.

10

Строчка из песни XVI в., музыка Джона Доуланда, слова Генри Ли.

11

Из стихотворения XXXII в книге Шарля Бодлера «Цветы зла».

12

Начальная строка стихотворения Томаса Уайета (1503–1542).

13

Имеется в виду «Классический словарь» Джона Ламприера, где перечислены все упомянутые в античных текстах герои – персонажи мифов и реальные лица.

14

Гризельда – воспетая Чосером и Боккаччо средневековая героиня, образец абсолютной преданности супругу; леди Астор – первая женщина в составе английского парламента; миссис Панкхорст – лидер движения суфражисток.

15

Из поэмы Джона Мильтона «Потерянный рай»; Валломброза – город в Этрурии, недалеко от Флоренции.

16

Джекки – прозвище шотландских солдат.

17

Перевод Вероники Капустиной.

18

Изысканное! Игривое! (*фр.*)

19

О разумеется, месье! (*фр.*)

20

«Худо! Глотку жжет огнем!» (*фр.*) – вошедшая в поговорку реплика из басни Лафонтена «Хитрец крестьянин и его господин».

21

Поехали! (*фр.*)

22

Будем говорить по-французски. Что ты делаешь? Думаешь, я буду спать с грязной шлюшкой? (*фр.*)

23

«Труден Авернский спуск» (*лат.*) – слегка искаженная цитата из «Энеиды» Вергилия (VI 1268). *Avernī* – Авернское озеро в Кампании, рядом с которым по легенде находился вход в подземное царство теней.

24

Регул – римский консул, коварно казненный карфагенцами и явивший при этом необычайное мужество. Далее, обыгрывая созвучие имени проститутки с «варваром» (*barbarus*), Гордон вспоминает строку из оды Горация – «Знаток в своем пыточном деле варвар» (*лат.*).

25

Имеется в виду сцена на пиру, где леди Макбет предлагает мужу «выпить вина и вновь мужчиной стать» (акт III, сцена 4).

26

Условная дата начала эпохи романтизма в английской поэзии, когда главными становятся философски-мистические темы, мотивы печали, одиночества, элегических ретроспекций и т. п.

27

Строчка из национального гимна.